

ФИЛАТОВ

Д
М
И
Т
Р
И
Й

"ПАРАД ДУРАКОВ"

"ВЕРА В СЛОВА"

"НОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ"

"НЕЗАВИСИМОСТИ"

"ДЕКЛАРАЦИЯ

БЫКОВ

И
Й
Р
Т
И
М
У

Дмитрий Быков

**«Декларация независимости»
«Ночные электрички»**

**РИЦ «ПАЛИТРА»
Москва 1992**

Средства на издание книги предоставлены
Акционерным обществом
“Научно-производственный центр
промышленного телевидения
“ОНИКС”

тел. (095)-189-77-41

(095)-218-18-62

факс. (095)-218-63-09

В оформлении использованы рисунки:

Р. Гаспаряна

Г. Басырова

В. Буркина.

© Дмитрий Быков, 1992

ПРЕДИСЛОВИЕ КНИГОТОРГОВЦА (начало)

**ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ,
кто открыл эту книгу!**

Немедленно закройте ее и положите, где взяли!

Вы же серьезный человек! Вы что — стихи читать будете?! Не верю! Пушкина читали, Лермонтова? И это: "Я достаю из широких штанин..." Ну и хватит, чего еще. Не морочьте себе голову. А уж если Вам так захотелось что-то почитать, такой вот зуд напал, то возьмите газету — "Коммерсант" или "Коммунист", толку больше будет... Конечно, если Вы не считаете себя серьезным или деловым, то тогда...

Тогда хватайте эту книгу! Быстро! И уход... Стоп! Деньги-то отдайте — хоть и гроши, конечно, но все-таки... А теперь — уходите, не оглядываясь! Бежать не надо — не привлекайте к себе внимания. Смешавшись с толпой или завернув за угол, можете расслабиться. И прийти в добродушное настроение: Ведь вы сделали себе подарок. Не простой подарок — с секретами. Обращаться с ним надо бережно и правильно. Поэтому, прежде, чем приступить к чтению стихов, пожалуйста, прочтите предисловия.

ПРЕДИСЛОВИЕ СОАВТОРА

Мы с Дмитрием Быковым давно следим за творчеством друг друга. Часто но утрам один из нас будит другого звонком и, босиком приплясывая у телефона с листком в руке, заставляет следить за своим творчеством.

В результате этой слезки я установил, что Быков — чрезвычайно типичный поэт: он хочет соединить и соединяет в себе и своих стихах много разного, практически несовместного. Он хочет быть мудрым, наивным, виновным, невинным, любимым и любящим, первым и последним. И непременно одновременно. Этим дорог и понятен.

Иногда мне чуть страшно за него — так можно и душу порвать. Впрочем, Быков еще и расчетлив — во всяком случае, он сам об этом неоднократно сочинял, и, значит, это тоже правда.

По числу публикаций Дмитрий Львович легко даст фору как многим сверстникам, так и тем, кто куда старше его паспортом или стажем. В защиту его от возможных завистников скажу, что Быков уже давно не нуждается в восторгах юному таланту, в причислении Быкова к какому-нибудь литера-

турному направлению или явлению. Он хорошо и часто пишет хорошие стихи — за это его печатают.

Не знаю, войду ли я в вечность под широкой и тесной (в тесноте, да не в обиде) обложкой Быкова... а куда мы, ребята, друг от друга денемся!

Будь счастлив, Дмитрий Львович, спасибо тебе.

Д.Филатов

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Автор родился в Москве 20 декабря 1967 года.

По образованию автор — литературный критик, по воинской специальности — комплектовщик. Вот почему его стихи так укомплектованы литературными реалиями, отсылками и цитатами.

Автор заметил, что при чтении его стихи ему меньше нравятся, чем когда он перепечатывает их на машинке. Если кому-нибудь его стихи не понравятся, автор советует читателю перепечатать эти стихи на машинке, и эффект будет совсем другой.

Автор в такие сжатые сроки готовил рукопись к печати, что просить кого-либо из мэтров писать к ней предисловие было неудобно. Мэтры заняты своими делами, и автор не хочет их торопить. В силу этого он ограничивается простым перечислением своих литературных учителей, а также людей, даривших его своим благосклонным вниманием. Больше всего для автора сделала его мама, филолог, учитель словесности, и его жена. Их воздействие остается главенствующим. Автора учили и учат Новелла Матвеева и Иван Киру, Нонна Слепакова и Лев Мочалов, Александр Кушнер, Владимир Новиков, Александр Житинский, Валерий Попов, Юнна Мориц, Бахыт Кенжеев.



Д.Быков

ПРЕДИСЛОВИЕ КНИГОТОРГОВЦА (окончание)

Большое Вам спасибо. Будьте добры, читайте дальше.

Дмитрий Быков

ДЕКЛАРАЦИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ

стихотворения



МУЗА

*Пришла и села.
А.Фет*

*Я, вероятно, терзаю Музу.
И.Бродский*

Прежде она прилетала чаще.

Как я легко приходил в готовность! —
Стоило ей заиграть на цитре,
Стоило ей забряцать на лире,
Пальцами нежно перебирая —
Струны, порочный читатель, струны!
После безумных и торопливых —
Привкус запретности — неумелых
Совокуплений она шептала:
“О, как ты делаешь это! Знаешь,
Н. — фамилия конкурента —
Так не умеет; хоть постоянно
Изобретает новые позы
И называет это верлибром,
Фантасмагорией и гротеском.”

О, синхронные окончания
Строк, приходящих одновременно
К рифме как высшей точке блаженства,
Перекрестившись (прости нас, Боже!)
Как не любить перекрестной рифмы!
О, сладострастные стоны гласных,
Сжатые зубы согласных, губы
Взрывных, задыхание фрикативных,
Жар и томленье заднеязычных!
Как, разметавшись, мы засыпали
В нашем Эдеме — мокрые листья,
Нежный рассвет после бурной ночи,
Робкое треньканье первой птахи,
Непреднамеренно воплотившей
Жалкость и прелесть стихосложения!

И, залетев, она залетала.

Через какое-то время — месяц,
Два или три, иногда полгода —
Мне в подоле она приносила
Несколько наших произведений.
Если же вдруг случались двойняшки,
“Ты повторяешься,” — улыбалась,
И, не найдя в близнецах различья,
Я обещал, что больше не буду.

Если я ей изменял с другими,
Счастья, понятно, не получалось.
Все выходило довольно грубо.
После того, как — конец известен —
Снова меня посылали к Музе
(Ибо такая формулировка
Мне подходила более прочих) —
Я не слыхал ни слова упрёка
От возвратившейся милой гостьи.
Я полагаю, сама измена
Ей вообще была безразлична —
Лишь бы глагольные окончания
Не рифмовались чаще, чем нужно.
Тут уж она всерьез обижалась
И говорила, что Н., пожалуй,
Кажется ей, не лишен потенциал.

Однако все искупали ночи.
Утром, пока я дремал, уткнувшись
В клавиши бедной машинки, гостья,
Письменный стол приведя в порядок,
Прежде чем выпорхнуть, оставляла
Рядом записку: “Пока. Целую.”
Это звучало: “Пока целую,
Все, вероятно, не так печально”.

Нынче она прилетает редко.

Прежде хохочущая девчонка
Нынче тиха, холодна, покорна.
Прежде со мной игравшая в прятки,
Нынче она говорит мне: “Ладно”, —
Как обреченному на закланье.
Тонкие пальцы ее, печально
Глядя измученный мой затылок,
Ведают что-то, чего не знаю.
Что она видит, устало глядя
Поверх моей головы повинной,
Ткнувшейся в складки ее туники?
Близкую смерть? Бесплезность жизни?

Или пейзаж бывшего Эдема? —
Там, где когда-то пруд с лебедями,
Домик для уток, старик на лавке,
Вечер, сирень, горящие окна, —
Нынче пустое пространство мира.
Метафизические останки
Сваленной в кучу утвари; ружлядь
Звуков, которым уже неважно,
Где тут согласный, где несогласный.
Строки уже не стремятся к рифме.
Метры расшатаны, как заборы
Сада, распертого запустеньем.
Мысль продолжается за оградой
Усиком вьющегося растения,
Но, не найдя никакой опоры,
Ставший из вьющегося — ползучим
Плющом, плутает бесплодной плетью.
Ветер гоняет клочки бумаги.
Мальчик насвистывает из Джойса.
Да вдалеке, на пыльном газоне,
Н., извиваясь и корчась в муках,
Тщится придумать новую позу.

БРАТ

У рядового Таракуцы Пети
Не так уж много радостей на свете.
В их спектре, небогатом и простом, —
Солдатский юмор, грубый и здоровый,
Добавка, перепавшая в столовой,
Или письмо, — но о письме потом.

Сперва — о Пете. Петя безграничен.
Для многих рост его уже привычен,
Но необычен богатырский вес,
И даже тем, что близко с ним знакомы,
Его неимоверные объемы
Внушают восхищенный интерес.

По службе он далек от совершенства,
Но в том находит высшее блаженство,
Чтоб делать замечанья всем подряд,
И к этому уже трудней привыкнуть,
Но замолкает, ежели прикрикнуть,
И это означает: трусоват.

Зато в столовой страх ему неведом:
Всегда не наедаясь за обедом,
Он доедает прямо из котла;
Он следует начальственным заветам,

Но несколько лениво... и при этом
Хитер упрямой хитростью хохла.

Теперь — письмо. Солдаты службы срочной
Всегда надежды связывают с почтой,
Любые размышленья ни к чему,
И сразу, избежав длиннот напрасных,
Я говорю: у Пети нынче праздник.
Пришло письмо от девушки ему.

Он говорит: “Гы-гы! Вложила фотку!”
Там, приложив платочек к подбородку,
И так отставив ножку, чтоб слегка
Видна была обтянутая ляжка,
Девушка, завитая под барашка,
Мечтательно глядит на облака.

Все получилось точно, как в журнале,
И Петя хочет, чтобы все узнали,
Какие в нас-де дамы влюблены!
Кругом слезами зависти зальются,
Увидевши, что Петя Таракуца
Всех обогнал и с этой стороны.

И он всю показывает фото,
И с ужина вернувшаяся рота
Рассматривает лаковый квадрат,
Посмеиваясь: “Надо ж! Эка штука!” —
И Петя нежно повторяет “Су-у-ка!” —
Как минимум, пятнадцать раз подряд.

...Усталые, замотанные люди
Сидят и смотрят фильм о Робин Гуде.
Дежурный лейтенант сегодня мил, —
По нашей роте он один из лучших, —
И на экране долговязый лучник
Прицелился в шерифовских громил.

Я думаю о том, что все мы братья,
И все равны, и всех хочу принять я, —
Ведь где-то там, среди надзвездных стуж,
Превыше облаков, густых и серых,
В сверкающих высотах, в горних сферах,
Витает сонм бессмертных наших душ.

Отважный рыцарь лука и колчана
Пускает стрелы. Рота замолчала:
Ужель его сегодня окружают?
Играет ветер занавесью куцей,
И я сижу в соседстве с Таракуцей
И думаю о том, что он мой брат.

БАЛЛАДА

*В то время я гостила на Земле
А.Ахматова*

И все же на поверхности земли
Мы не были случайными гостями:
Не слишком шумно жили, как могли,
Обмениваясь краткими вестями
О том, как скудные свои рубли
Растратили — кто сразу, кто частями,
Деля на кучки... (Сколько ни дели,
Мы часто оставались на мели).

И все же на поверхности земли
Мы не были случайными гостями:
Беседы полуночные вели,
Вступали в пререкания с властями...
А мимо нас босые слуги шли
И проносили балдахин с кистями.
Как бережно они его несли!
Их ноги были в уличной пыли.

И все же на поверхности земли
Мы не были случайными гостями:
В харчевнях неумные врали
Играли в домино, гремя костями,
Потягивали пиво, чушь плели,
И в карты резались, хвалясь мастями;
Пел нищий, опершись на костыли,
И запрещенные бумаги жгли.

И все же на поверхности земли
Мы не были случайными гостями:
В извечном страхе пули и петли
Мы проходили теми же местами,
Над реками, что медленно текли
Под тяжкими чугунными мостами...
Вокруг коней ковали, хлеб пекли,
И торговали, и детей секли.

И все же на поверхности земли
Мы не были.

Случайными гостями
Мы промелькнули где-то там, вдали,
Где легкий ветерок играл снастями.
Вдоль берега мы медленно брели —
Друг с другом, но ни с этими, ни с теми,
Пока метели длинными хвостами
Последнего следа не замели.

МОСТ

Ю.Мориц

На одном берегу Окуджаву поют
И любят вешним закатом;
На другом берегу подзатыльник дают
И охотно ругаются матом.

На одном берегу сочиняют стихи,
По заоблачным высям летают,
На другом берегу совершают грехи
И почти ничего не читают.

На одном берегу зашибают деньги
И бахвалятся друг перед другом,
И поют, и кричат, а на том берегу
Наблюдают с брезгливым испугом.

Я стою, упираясь руками в бока,
В берега упираясь ногами,
Я стою. Берега разделяет река,
Я как мост меж ее берегами.

Я как мост меж двумя берегами врагов
И не знаю труда окаянной.
Я считаю, что нет никаких берегов,
А один островок в океане.

...Так стою, невозможное соединя,
И во мне несовместное слито,
Потому что с рожденья пугали меня
Неприятным словом "элита",

Потому что я с детства боялся всего,
Потому что мне сил не хватало,
Потому что на том берегу большинство,
А на этом достаточно мало.

И не то, чтобы там, на одном берегу,
Были так уж совсем безгреховны,
И не то, чтобы там, на другом берегу,
Были так уж совсем бездуховны, —

Но когда на одном утопают в снегу,
На другом наслаждаются летом,
И совсем непонятно на том берегу
То, что проще простого на этом.

Первый берег всегда от второго вдали,
И, увы, это факт непреложный.
Первый берег корят за отрыв от земли,
Той, заречной, противоположной!..

И когда меня вовсе уверили в том, —
А теперь понимаю, что лгали, —
Я шагнул через реку убогим мостом
И застыл над ее берегами.

И все дальше и дальше мои берега,
И стоять мне недолго, пожалуй,
И во мне непредвиденно видят врага,
Те, что пели со мной Окуджаву!..

Одного я вовсе понять не могу
И со страху в лице изменяюсь, —
Что с презреньем глядят на другом берегу,
Как шатаюсь я, как наклоняюсь,

Как руками машу, и сгибаюсь в дугу,
И держусь на последнем пределе...
А когда я стоял на своем берегу,
Так почти с уваженьем глядели!..

ВРЕМЕНА ГОДА

1. ПОДРАЖАНИЕ ПАСТЕРНАКУ

...Чуть ночь, очи топили печь.
Шел август. Ночи были влажны.
Сначала клали, чтоб разжечь,
Щепу, лучину, хлам бумажный.

Жарка, уютна, горяча
Среди густеющего мрака
Она горела, как свеча
Из “Зимней ночи” Пастернака.

Отдавшись первому теплу
И запахам дымка и прели,
Они сидели на полу
И, взявшись за руки, смотрели.

...Чуть ночь, они топили печь.
Дрова не сразу занимались,
И долго, перед тем как лечь,
Они растопкой занимались.

Дрова успели отсыреть
В мешке у входа на террасу,
Их нежелание гореть
Рождало затруднений массу,

Но через несколько минут
Огонь уже крепчал, помедлив,

И еле слышный ровный гуд
Рождался в багроватых недрах.

Дым очертания менял
И из трубы клубился книзу,
Дождь припускал по временам,
Стучал по крыше, по карнизу,

Не уставал листву листать
Своим касанием бесплотным,
И вдвое слаще быть спать
В струистом шелесте дремотном.

...Чуть ночь, они топили печь.
Плясали тени по обоям.
Огня лепечущая речь
Была понятна им обоим.

Помешивали кочергой
Печное пышущее чрево,
И не жил там никто другой —
Леса направо и налево,

Лишь дождь, как полуночный ткач,
Прошил по странному наитью
Глухую тишь окрестных дач
Своею шелестящей нитью.

Казалось, осень началась.
В июле дачники сбежали
И в эти дни, дождя боясь,
Сюда почти не наезжали, —

Весь мир, помимо их жилья,
Был как бы вынесен за скобку,
Но прогорали уголья,
И он вставал закрыть заслонку.

...Чуть ночь, они топили печь,
И в отблесках ее свеченья
Плясали тени рук и плеч,
Как некогда — судьбы скрещенья.

Волна пахучего тепла,
Что веяла дымком и прелью,
Чуть колебалась и плыла
Над полом, креслом, над постелью,

Над старой вазочкой цветной,
В которой флоксы доживали,
И над оплывшею свечой,
Которую не зажигали.

2. ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ АВТОЭПИТАФИЯ

Весенний первый дождь. Вечерний сладкий час,
Когда еще светло, но потемнеет скоро.
По мокрой мостовой течет зеленый глаз
Приветствующего троллейбус светофора,
Лиловый полумрак прозрачен, но уже
Горит одно окно на пятом этаже.

Горит одно окно, и теплый желтый свет,
Лимонно-золотой, стоит в квадрате рамы.
Вот дождь усилился — ему и дела нет:
Горит! Там девочка разучивает гаммы
В уютной комнате, и нотная тетрадь
Стоит развернута. Сыграет и опять

Сначала... Дождь в стекло. Потеки на стекле —
Забылись с осени... И в каждом из потеков
Дробится светофор. Под лампой, на столе,
Лежит пенал и расписание уроков,
А нынче музыка. Заданье. За дверьми —
Тишь уважения. И снова — до-ре-ми.

Она играет. Дождь. Сиреневая тьма
Все гуще. Окна разгораются, и вот их
Все больше. Теплый свет ложится на тома
На полке, за стеклом, в старинных переплетах,
На руки, клавиши и, кажется, на звук,
Что ровно и легко струится из-под рук.

И снова соль-ля-си... Соседнее окно —
Как рано все-таки смеркается в апреле! —
Доселе темное, теперь освещено:
Горит! Там мальчик клеит сборные модели:
Могучий самолет, раскинувший крыла,
Почти законченный, стоит среди стола.

Лишь гаммы за стеной — но к ним привычен слух —
Дождем перевиты, струятся монотонно.
Свет лампы. На столе — отряд любимых слуг:
Напильник, ножницы, флакончик ацетона,
Распространяющий столь резкий аромат,
Что сборную модель родители бранят.

А за окном темно. Уже идет к шести.
Работа кончена. Как бы готовый к старту —
Картинку на крыло теперь перевести —
Пластмассовый гигант воздвигнут на подставку
И чуть качается, еще не веря сам,
Что этакий титан взлетает к небесам.

Дождливый переплеск и капель переплес —
Апрельский ксилофон по стенам, по карнизу,
И мальчик слушает. Он ходит в третий класс
И держит девочку за врушку и подлизу,
Которой вредничать — единственная цель,
А может быть, влюблен и носит ей портфель.

Внутри тепло, уют... Но и снаружи — плеск
Дождя, дрожанье луж, ночного ксилофона
Негромкий перестук, текучий мокрый блеск
Фар, первых фонарей, миганье светофора,
Роенье тайных сил, разбуженных весной, —
Так дышит выздоравливающий больной.

Спи! Минул перелом, означен поворот
К выздоровлению, и выступает мелко
На коже лба и щек уже прохладный пот —
Пот не горячечный. Усни и ты, сиделка:
Дыхание его спокойно, он живет,
Он дышит, как земля, когда растает лед.

О, тишь апрельская, обманчивая тишь!
Работа тайных сил неслышна и незрима,
И скоро тополя окутает, глядишь,
Волна зеленого, пленительного дыма,
И высохнет асфальт, и посреди двора
По первым классикам проскачет детвора.

А следом будет ночь, а следом будет день,
И жизнь, дарующая все, что обещала,
Прекрасная, как дождь, как тополь, как сирень,
А следом будет — нет! о нет! начни сначала! —
Ведь разве этот рай — не самый верный знак,
Что все окончиться не может просто так?!

Я знаю, что и я когда-нибудь умру,
И если, как в одном рассказике Катерли,
Мы, обнесенные на грустном сем пиру,
Там получаем все, чего бы здесь хотели,
И все исполнится, чего ни пожелай —
Хочу, чтобы со мной остался этот рай:

Весенний первый дождь, вечерний сладкий час,
Когда еще светло, но потемнеет скоро,
Сиреневая тьма, зеленый влажный глаз
Приветствующего троллейбус светофора,

И потная тетрадь, и книги, и портфель,
И гаммы за стеной, и сборная модель.

3. ОКТЯБРЬ

Подобен клетчатой торпедо
Вареный рыночный початок,
И мальчик на велосипеде
Уже не ездит без перчаток.
Ночной туман, дыханье с паром,
Поля пусты, леса пестры,
И листопад глядит распадом,
Разладом веток и листвы.

Октябрь, тревожное томленье,
Конец тепла, остаток бледный,
Включившееся отопленье,
Холодный руль велосипедный,
Привычный мир зыбуч и шаток,
И сам себя не узнает —
Круженье листьев, курток, шапок,
Разрыв, распад, разбег, разлет.

Октябрь, разрыв причин и следствий,
Непрочность в том и зыбкость в этом,
Пугающие, словно в детстве,
Когда не сходится с ответом.
Все кувырком, и ум не сладит:
Отступит там, споткнется тут...
Разбеги пар, крушенья свадеб,
И листья жгут, и снега ждут.

Сухими листьями лопочет,
Нагими прутьями лепечет,
И ничего уже не хочет,
И сам себе противоречит —
Мир перепутан и тревожен,
Разбит, раздерган вкривь и вкось,
И все-таки не безнадежен,
Поскольку мы еще не врозь.

* * *

Полжизни ушло на прокорм клопов, стоянье в очередях,
Пустые хлопоты, кровь и пот, выпрашивание оплеух,
Подачки, каких домогался сам и раздавал другим,
Улыбки, призванные скрывать антонимы таковых.

Страшней всего, когда по утрам не о чем говорить.
Она потягивается, встает, набрасывает халат.
Ты обреченно стелешь постель и с медным вкусом во рту
Закуриваешь, хотя голова и так тяжела с утра.

Полжизни ушло на прокорм клопов, топтанье у тех дверей,
В какие сроду бы не входить; четвертая часть — на то,

Чтоб дам случайных уговорить заняться с тобою тем,
Чем занимался — не четверть, нет, едва двадцатую часть.

К полудню воздух уже горяч и влажен, будто в парной.
Во всем вскипает глухая злость — в листве, в трамвае, в тебе,
И шум в голове, и грохот в ушах — почти готовность убить
Любого, начав с соседа в метро и кончив самим собой.

Полжизни ушло на прокорм клопов, а треть, говорят, на сон.
Отбросив мелочи — быт, еду, — получим шестую часть.
Она ушла не на жизнь. Опять. На то, чтобы грызть перо,
Ловить затисканные слова и втискивать их в размер.

А между прочим, в те времена, далекие, как Луна,
Меня любила моя Она, как может только она,
И было горе мне не беда и розою — лебеда.
Все это было Бог весть когда и не было никогда.

Что я здесь делаю?!

СЧАСТЬЯ НЕ БУДЕТ

*Олененок гордо ощутил
Между двух ушей два бугорка,
А лисенок притаился в нору
Мышь, которую он сам поймал.
Галина Демкина*

Музыка, складывай ноты, захлопывай папку,
Прячь свою скрипку, в прихожей разыскивай шляпку.
Ветер по лужам бежит и апрельскую крутит
Пыль по асфальту подсохшему. Счастья не будет.

Счастья не будет. Винить никого не пристало.
Влажная глина застыла и формою стала.
Стебель твердеет, стволом становясь лучевидным.
Нам ли с тобой ужасаться вещам очевидным?

Будет тревожно, восторженно, сладко, свободно,
Будет томительно, радостно, — все, что угодно, —
Счастья не будет. Оставь ожидания подросткам.
Нынешний возраст подобен гаданию с воском:

Жаркий, в воде застывает, и плачет гадалка.
Миг между жизнью и смертью — умрешь, и не жалко —
Больше не будет единственным нашим соблазном.
Сделался разум стоглазым. Беда несогласным:

Будут метаться, за грань прорываться без толку —
Жизнь наша будет подглядывать в каждую щелку.
Воск затвердел, не давая прямого ответа.
Счастья не будет. Да, может, и к лучшему это.

Вольному воля. Один предается восторгам
Эроса. Кто-то политикой, кто-то Востоком
Тщится заполнить пустоты. Никто не осудит.
Мы-то с тобой уже знаем, что счастья не будет.

Век наш вошел в колею, равнодушный к расчетам.
Мы-то не станем просить снисхожденья, а что там
Бьется, трепещет, не зная, не видя предела, —
Страх ли, надежда ли, — наше интимное дело.

Щебень щебечет, и чавкает грязь под стопую.
Чет или нечет — не нам обижаться с тобою.
Желтый трамвай дребезжанием улицу будит.
Пахнет весной, мое солнышко. Счастья не будет.

Из цикла “Декларация независимости”.

Блажен поэт, страдающий запоем!
Небритая романтика — в чести.
Его топтали — мнит себя героем.
Его любили — он кричит: “Прости!”.

Что до меня, то все мои потуги
Набросить плащ романтика — смешны.
Топтали. В этом нет моей заслуги.
Любили. В этом нет моей вины.

* * *

Кто обойден суровой школой,
Тот не увидит Галатеи
В трактирщице из пирожковой,
В торговке из галантереи.

Сырье поэта, как и прежде, —
Двуногих тварей миллионы.
Так пой, мой друг, в слепой надежде!
Мы все глядим в Пигмалионы!

* * *

От себя постепенно отвык —
От каких-то привычек, словечек...
Забываю, как отчий язык
Забывает с годами разведчик.

Машинально держусь на плаву.
Жаль тонуть — выгрсбаю исправно.
Без тебя же я как-то живу —
Без себя проживу и подавно.

Жил я скудно, и бедно, и мало,
 Даром тратил свое колдовство, —
 Но когда ты меня обнимала, —
 Мне казалось, я жил ничего.

Несмотря ни на что, в моей жизни
 Было несколько звездных минут,
 За которые в горней отчизне
 Добрым словом меня помянут.

ВТОРАЯ БАЛЛАДА

Пока их отцы говорили о ходе
 Столичных событий, о псовой охоте,
 Приходе зимы и доходе своем,
 А матери — традиционно — о моде,
 Погоде и прочая в этом же роде
 Они за диваном играли вдвоем.

Когда уезжали, он жалобно хныкал.
 Потом, наезжая во время каникул,
 Подросший и важный, в родительский дом,
 Он ездил к соседям и видел с восторгом:
 Она расцветает! И все это время
 Они продолжали друг друга любить.

Потом обстоятельства их разлучили —
 Бог весть, почему. По какой-то причине
 Все в мире случается наоборот.
 Явился хлыщом — развращенный, лощный, —
 И вместо того, чтоб казаться польщенной,
 Она ему рраз — от ворот поворот!..

Игра самолюбий. С досады и злости —
 За первого замуж. Десяток набросьте
 Уньных, бесплодных, томительных лет —
 Он пил, опустился, скитался по свету,
 Искал себе дело... И все это время
 Они продолжали друг друга любить.

Однажды, узнав, что она овдовела,
 Он кинулся к ней — и стоял помертвело,
 Хотел закричать — и не мог закричать.
 Они друг на друга смотрели бесслезно,
 И оба уже понимали, что поздно
 Надеяться заново что-то начать.

Он бросился прочь... и отсюда — ни звука:
 Ни писем, ни встречи. Тоска и разлука.

Они доживали одни и поврозь.
Он что-то читал, а она вышивала,
И плакали оба... И все это время
Они продолжали друг друга любить.

А все это время кругом бушевали
Вселенские страсти. Кругом убивали.
От пролитой крови вскипала вода.
Империи рушились, саваны шились,
И кроны тряслись, и короны крошились,
И рыжий огонь пожирал города.

Вулканы плевались камнями и лавой,
И гибли равно виноватый и правый.
Моря покидали свои берега.
Ветра вырывали деревья с корнями.
Земля колыхалась... И все это время
Они продолжали друг друга любить.

Клонясь, увядая, по картам гадая,
Беззвучно рыдая, безумно страдая,
То губы кусая, то пальцы грызя,
Сходили на нет, растворялись бесплотны,
Но знали безмолвно и бесповоротны,
Что вместе — нельзя и отдельно — нельзя.

Так жили они до последнего мига —
Несчастный дети несчастного мира,
Который и рад бы счастливее стать,
Да все не умеет: то бури, то драки,
То придурь влюбленных... и все это время...

О господи боже, да толку-то что?!

ВОСПОМИНАНИЕ ПОЭТА О ПОКИНУТОЙ ИМ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Союз неравных двух сердец
Чреват гробами,
И вы расстались наконец,
Скрипя зубами:

Ты — оттого, что сытный брак
Опять сорвался,
Он — оттого, что, как дурак,
Очаровался.

Да, ты не стоишь одного
Плевка поэта,
И, что печальнее всего, —
Он знает это.

Да, ты глупа, жалка, жадна,
И ваши встречи —
Сплошная жуть. Но ты нужна,
Как повод к речи.

Зачем? Не проще ли простить,
забыв, забывшись?
Но — чтоб лирически грустить,
нужна несбывшесть.

Ты не хранишь и пары строк
В мозгу убогом,
Но твой удел — давать толчок,
Служить предлогом.

Свестись к идее. Означать.
Не быть, а значить.
Не подходить к нему. Молчать.
Вдали маячить.

Ты вдохновишь его, но так
И лишь постольку,
Поскольку вдохновит русак
Его двухстволку.

Не вспоминая этих ног
И этой пасти,
Он не напишет восемь строк
О свойствах страсти.

Ты только жар его ума,
души причуда.
Ты лишь предлог. А ты сама —
Ступай отсюда!

* * *

Вечно для счастья детали одной, крохотулечки не доставало.
Вот и сегодня опять за стеной вместо Вагнера — Леонкавалло.
Как от угрюмого “Жизнь прожита” удержала смешная открытка —
Счастью сопутствует неполнота, охраняя его от избытка.

Ах, если б веточку эту — левой, это облачко вверх подтянули,
Ах, если б в паузе пел соловей (солорвьев не бывает в июле), —
Чтобы острее, жадней ликовать, смаковать, как последнюю кружку..
Если бы к нашему счастью кровать! Ничего, потерпи раскладушку.

Помнишь, у Мелвилла: сидя в тепле,
надо мерзнуть хоть кончиком пальца.
Как на остылой, постылой Земле напоследок удержат страдальца —
Хоть и ударили пыльным мешком, но укрыли от медного таза, —
Малою черточкой, беглым штришком отгорожено счастье от слеза.

О незаконченность! Только она! Только еде заметные сбои!
Жизни, покуда не завершена, совершенство противно любое!
Эту бы мысль — да в другую строфу, ибо в этой ее не заметим!
Полно, читатель! Такую лафу? На холяву? Довольствуйся этим.

ПРОРОК

*Не всякий лысый брюнетом был
А.М.Горький*

Не всякий лысый был брюнетом,
Хотя кричит, что он брюнет.
Не всякий битый был поэтом,
Хоть без битья поэта нет.

Пиит обязан быть побитым,
Хотя б немного, just a bit,
Но не обязан быть пиитом
Любой, кто кем-нибудь побит.

Легко считать себя пророком,
Подсчитывая синяки
И к ним в отчаяньи глубоком
Прикладывая медяки.

Но сотни сотен слов облыжных,
И бледный вид, и горький рок,
И в спину брошенный булыжник
Не говорят, что ты пророк.

А то случится, что пророком
Начнет считать себя любой,
Фингал имеющий под оком
Иль шрам над верхнею губой.

Пророк! Твой путь не безобиден.
Пророком быть — тяжелый крест.
Пророк всегда угрюм и беден.
Живет в пустыне. Мало ест.

Но мало быть босым и голым
И плечи поставлять под плеть,
Чтобы сердца людей глаголом
Не то что жечь, хотя бы греть.

Друзья! Поэтому не стоит
Свою тоску вздывать на щит.
Пророк, как правило, не стонет,
О старых шрамах он молчит.

Ему ль считать себя страдальцем
В юдоли грустной сей Земли?

Его не трогали и пальцем
В сравненьи с тем,
Как бить могли.

ДИАЛОГ

— Как мы любим себя, как жалеем,
Как бронируем место в раю!
Как убого, как жалко лелеем
Угнетенность, отдельность свою!
Сотню раз запятнавшись обманом,
Двести раз растворившись в чужом, —
Как любимея собственным кланом,
Как надежно его бережем!

Как, ответ заменив многоточьем,
Умолчаньем, сравненьем хромым,
Мы себе обреченность пророчим
И свою утесненность храним!
Как, последнее робко припрятав,
Назначая вождей и связных,
Люто любим своих супостатов, —
Ибо кто бы мы были без них!..

Мы, противники кормчих и зодчих,
В вечном страхе, в холодном поту,
Поднимавшие голову тотчас,
Как с нее убирали пяту,
Здесь, где главная наша заслуга —
Усмехаться искусанным ртом, —
Как мы все-таки любим...

— Друг друга!
Это все перевесит потом.

* * *

Есть радость в том, чтобы ходить за хлебом,
И есть его, и любоваться небом, —
Закатным ли, рассветным, — все равно.
Есть радость в том, чтобы ходить в кино.
Есть радость акмеизма прикладного:
Куря табак, играя в подкидного,
Копая чернозем, включая свет,
Макая хлеб в подливку из котлет,
На дюны выезжая ежегодно, —
Ну, словом, заслоняться как угодно
От этой темноты над головой,
От пустоты крошечной мировой.

РУБАЙЯТ

Я не делал особого зла, вообще говоря,
Потому что такие дела, вообще говоря,
Обязательно требуют следовать некоей идее,
А идей у меня без числа, вообще говоря.

Я без просьбы не делал добра, вообще говоря,
Потому что приходит пора, вообще говоря, —
Понимаешь, что в жизнь окружающих страшно вторгаться
Даже легким движеньем пера, вообще говоря.

Непричастный ко злу и добру, вообще говоря,
Я не стану подобен козлу, вообще говоря,
Что дрожит и рыдает, от страха упав на колени,
О своих пред Тобою заслугах вотще говоря.

НОННЕ СЛЕПАКОВОЙ

*Что делать! Юность неловка,
Зато неудержима,
А зрелость бьет, наверняка,
И сжата, как пружина.
Н.С.*

Юность смотрит в телескоп.
Ей смешон разбор детальный.
Бьет восторженный озноб.
От тотальности фатальной.
И поскольку бытие
Постигается впервые,
То проблемы у нее
Большой частью мировые.
Так что как ни назови —
Получается в итоге
Все о дружбе и любви,
Одиночестве и Боге.
Эта легкая строка
Так вольготна и красива!
Юность смотрит свысока —
Так виднее перспектива.
Юность пробует парить
И от этого чумеет,
Любит много говорить,
Потому что — не умеет.

Зрелость смотрит в микроскоп:
Мимо Бога, мимо черта,
Ибо это — между строк:
В окуляре — мелочевка.
Со стиральным порошком,
Черным хлебом, черствым бытом,

И не кистью, а мелком,
Не гуашью, а графитом.
Побеждая тяжесть век,
Приопущенных устало,
Зрелость смотрит снизу вверх,
Словно из полуподвала,
И вмещает свой итог,
Взгляд прицельный, микроскопный, —
В беглый штрих, короткий вздох
И в хорей четырехстопный.

* * *

Если б я не боялся тюрьмы и сумы,
И новейшей чумы, и ближайшей зимы,
Пьяной стычки, прилипчивой клички
Или будущей тьмы, цепенящей умы, —
Не цеплялся за жизнь, за которую мы
Опасаемся лишь по привычке, —

Да и что нас тут держит? — бессмыслица, пар:
Полный парочек, нежно просвеченный парк
Или солнца случайная прихоть —
На закате горящая охрой стена
Или музыка, после дождя, из окна;
Если б я не боялся накликать,

То есть сглазить — но что? — эту бедную дрожь,
Этк зыбкую твердь, на которой живешь,
Как во сне, до закрученной гайки,
До железного лязга, до срыва резьбы;
Не боялся российской запойной судьбы
И пагайки, и глинистой пайки;

Если б я не берег свою плоть — этот прах,
Если б мне удалось побороть этот страх —
Эту жалкую просьбу не трогать,
Пожалеть, не оставить, упрятать за щит —
Страх конца, о котором все тело кричит,
Каждый волос кричит, каждый ноготь;

Если б я не стыдился за это нытье,
Если б даже не жизнь — проживанье свое
Не считал за подарок и чудо,
Что при первой промашке отнять норвят,
И когда б я не думал, что сам виноват,
Я бы вам рассказал, как мне худо.

* * *

Не рассказывайте слабым
О своих победах.

Не рассказывайте бабам
О своих проблемах.

В крике свары, в рыке своры,
В трудный час России
Бабы ищут в нас опоры,
А не рефлексии.

Позови ты лучше друга
Посидеть за пивом
В час печального досуга
В мире несчастливом.

И в сиреневых потемках,
Честно, без подвоха,
Друг поведает о том, как
Все у него плохо:

Дома, скажет, все болеют,
Вещи дорожают,
Бабы, скажет, не жалеют.
И не уважают.

Выпьем! Нет для человека
Радостнее факта,
Что не он один калека:
Все спокойней как-то.

А от жалости у бабы —
Только шаг до злобы.
Охраняй свои ухабы
От своей зазнобы.

А на жалости далече
Не уедешь, друже:
Подойдет, возьмет за плечи —
Будет только хуже.

* * *

В гостинице, в лавке, в троллейбусной давке,
Больной головою на грудь поникая,
Тоскуя мучительно (повод неважен),
Не жди утешенья, тепла и привета,
Напротив, тебе же еще и добавят.
Несчастный притягивает неудачи
И видом своим вызывает досаду,
И страх, что такое же с ними случится,
И просто брезгливость, простите за трезвость...

Поэтому — делай хорошую мину!

Поэтому — делай хорошую мину!
Не слишком хорошую, очень простую
(Брезгливость и зависть — из полыма в пламя),
Но все-таки делай, а кислую мину
Закладывай в эту, — авось не взорвется.
Ее не показывай девушке милой,
Ее не показывай Родине малой,
Ее не показывай Господу Богу,
А то он подумает: "Неблагодарный!"
И сделает хуже, а хуже бывает.
(На самом-то деле он видит, конечно,
Но вежливость ценит, как все остальные).

И только себе самому признавайся,
Что жизнь твоя кончилась, не начинаясь.

* * *

Все не ладится в этой квартире,
В этом городе, в этой стране,
В этом блеклом, развинченном мире,
И печальней всего, что во мне.

Мир ли сбился с орбиты сначала,
Я ли в собственном бьюсь тупике, —
Все, что некогда мне отвечало,
Говорит на чужом языке.

Или это присуще свободе —
Мяться, биться, блуждать наугад?
То ли я во вселенском разброде,
То ли космос в моем виноват.

То ли я у предела земного,
То ли мир переходит чёрту.
То ли воздух горчит. То ли слово.
То ли попросту — горечь во рту.

ПОХВАЛА БЕЗДЕЙСТВИЮ

Когда кончается эпоха
И пожирает племена, —
Она плоха не тем, что плохо,
А тем, что вся предreshена.

И мы, дрожа над пшенной кашей,
Завидя призрак худобы,
Страшимся предreshенной, нашей,
Не нами избранной судьбы,

Хотя стремимся бесполезно,
По логике дурного сна,
Вперед, — а там маячит бездна,
Назад, — а там опять она,

Доподлинно по “Страшной мести”,
Когда колдун сходил с ума...
А если мы стоим на месте,
То к нам ползет она сама.

Мы подошли к чумному аду,
Где, попирая естество,
Спротивление распаду
Катализирует его.

Зане вселенской этой лаже —
Распад, безумие, порок —
Любой способствует. И даже —
Любой, кто встанет поперек.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАНС

Когда я брошу наконец мечтать о лучшей доле,
Тогда окажется, что ты жила в соседнем доме,
А я измучился, в другой ища твои черты,
Хоть видел, что она не ты, но уверял, что ты.

А нам светил один фонарь, и на стене качалась
То тень от ветки, то листвы размытая курчавость,
И мы ходили за куском вареной колбасы
В один и тот же гастроном, но в разные часы.

...О, как я старости боюсь — пустой, бездарной, скудной,
Как в одиночестве проснись в тоске глухой и нудной,
Один, в начале сентября, примерно к четырем,
Как только цинковый рассвет дохнет нашатырем!

О чем я вспомню в сентябре, в предутреннем ознобе,
Одной ногой в своей норе, другой ногой во гробе?
Я шел вослед своей судьбе, куда она вела.
Я ждал, когда начнется жизнь, а это жизнь была.

Да неужели! Боже мой! О варево густое,
О дурно пахнущий настой, о марево пустое!
Я оправданий не ищу годам своей тщеты, —
Но был же в этом тайный смысл! Так это будешь ты.

Ах, ясно помню давний миг, когда мне стало страшно:
Несчастный маленький старик лобзал старуху страстно,
И я подумал: вот и мы! На улицах Москвы
Мне посылались иногда знаменья таковы,

Ты приведешь меня домой, и с первого же взгляда
Узнаю лампу, стол хромой и книги — те, что надо.
Свеча посветит пять минут и скоро догорит,
Но с этой жизнью, может быть, отчасти примирит.

ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Маленькая поэма

1.

Этот проспект, как любая бьль,
Теперь вызывает боль.
Здесь жил когда-то Миша Король,
Уехавший в Израиль.

Не знаю, легко ли ему вдали
От глины родных полей:
Ведь только в изгнании короли
Похожи на королей.

...Мой милый! В эпоху тотальных драк,
В отечественной тюрьме,
Осталось мало высоких благ,
Не выпачканных в дерьме.

На крыше гостиницы, чей фасад
Развернут к мерзлой Неве,
Из букв, составляющих "Ленинград",
Горят последние две.

И новый татарин вострит топор
В преддверье новых Каял,
И даже смешно, что Гостиный Двор
Стоит себе, как стоял.

В Москве пурга, в Петербурге тьма,
В Прибалтике произвол, —
И если я не схожу с ума,
То, значит, уже сошел.

2.

Я жил нелепо, суетно, зло,
Я вечно был не у дел.
Если мне когда и везло,
То меньше, чем я хотел.

Если мне, на беду мою,
Выпадет умереть,
Я отыскал бы даже в раю
Место, где погореть.

Частные выходы — блеф, запой, —
Я не беру в расчет.
Жизнь моя медленною, слепой,
Черной речкой течет.

Твердая почва надежных правд
Не по мою стопу.
Я, как некий аэронавт,
Выброшен в пустоту.

Покуда не искажил покой
Черт моего лица, —
Боюсь, уже ни с одной рекой
Не слиться мне до конца.

Какое на небе ни горит
Солнце или салют, —
Меня, похоже, не растворит
Ни один абсолют.

Я бы, пожалуй, и сам не прочь
Слиться, сыграть слугу,
Я бы и рад без тебя не мочь,
Но, кажется, не могу.

3.

Теперь, когда, скорее всего,
Господь уже не пошлет
Рыжеволосое существо,
Заглядывающее в рот

Мне, читающему стихи,
Которые напишу,
И отпускающее грехи
Прежде чем согрешу,

Хотя я буду верен как пес,
Лопни мои глаза;
Курносое столь, сколь я горбонос,
И гибкое, как лоза,

Когда уже ясно, что век живи,
В любую дудку свисти —
Запас не востребованной любви
Будет во мне расти,

Сначала нежить, а после жечь,
Пока не выбродит весь
В перекись нежности — нежить, желчь,
Похоть, кислую спесь;

Теперь, когда я не жду щедрот,
И будь я стократ речист —
Если мне кто и заглянет в рот,
То разве только дантист;

Когда затея исправить свет,
Начавши с одной шестой,
И даже идея оставить след
Кажется мне пустой;

Когда прибита былая пруть,
Как пыль плетями дождя —
Вопрос заключается в том, чтоб жить,
Из этого исхода.

Теперь меня легко укротить,
Вычислить, втиснуть в ряд,
И если мне дадут докоптить
Небо — я буду рад.

Мне остается, забыв мольбы,
Гнев, раскаянье, страсть, —
В Черное море общей судьбы
Черною речкой впасть.

4.

Мы оставаться обречены
Здесь, у этой черты,
Без доказательств чужой вины
И собственной правоты.

Наш век за нами не доглядел,
Вертя свое колесо.
Мы выбираем любой удел.
Мы заслужили все.

Любезный друг! Если кто поэт,
То вот ему весь расклад:
Он пишет времени на просвет,
Отечеству на прогляд.

И если вовремя он почит,
То будет ему почет,
А рукопись, данную на почит,
Отечество просечет.
Но если укажет наоборот
Расположенье звезд,
То все, что он пишет ночь напролет,
Он пишет коту под хвост.

*Ленинград, Черная речка — пр. Морской Славы.
Январь 1991.*

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ

В. Вагнеру, А. Давыдову

Наше свято место отныне пусто. Чуть стоят столбы, висят провода.
С быстротой змеи при виде мангуста кто могли, разъехались кто куда.
По ночам в небе видна комета — на восточном крае, в самом низу.
И стоит такое тихое лето, что расслышишь каждую стрекозу.

Я живу один в деревянном доме. Я держу корову, кота, коня.
Обо мне уже все позабыли, кроме тех, кто никогда не помнил меня.
Что осталось в лавках, беру бесплатно. Сею рожь и просо, давлю вино.
Я живу, и время течет обратно, потому, что стоять ему не дано.

Я уже не дивлюсь никакому диву. На мою судьбу снизошел покой.
Иногда листаю желтую “Ниву”, и страницы ломаются под рукой.
Приблудилась дурочка из деревни — забредет, поест, споет на крыльце:
Все обрывки песенки, странной, древней, о милом дружке да строгом отце.

Вдалеке заходят низкие тучи, повисят в жаре, пройдут стороной.
Вечерами туман, и висит беззвучье над полями и над рекой парной.
В полдень даль размыта волнами зноя, лес молчит, травинкой не шелохнет,
И пространство его резное, сквозное, на поляне светло, как липовый мед.

Иногда заедет отец Паисий, что живет при церковке, за версту,
Невысокий, смуглый, с усмешкой лисьей,
по привычке играющий в простоту.

Сам себе попеняет за страсть к винишке,
опрокинет рюмочку — “Лепота”, —
Посидит на веранде, попросит книжку, подведет часы, почешет кота.

Иногда почтальон постучит в калитку — все, что скажет, ведаю наперед.
Из потертой сумки вынет открытку — непонятно, откуда он их берет.
Все не мне, неизвестным; еры да яти; то пейзаж зимы, то портрет царя, —
К Рождеству, дню ангела, Дню Печати,
с Валентиновым днем, с Седьмым ноября.

Иногда на тропе, что давно забыта и, не будь меня, уже заросла б,
Вижу след то ли лапы, то ли копыта,
а взглядеться, так, может, и птичьих лап,
И к опушке, к темной воде болота, задевая листву, раздвинув траву,
По ночам из леса выходит кто-то и недвижно смотрит, как я живу.

* * *

*Быть должен кто-нибудь гуляющий по саду,
Среди цветущих роз и реющих семян.
Н. Матвеева.*

Сырое тление листвы
В осеннем парке полуголом
Привычно гражданам Москвы
И неизменно с каждым годом.

Листва горит. При деле всяк.
Играют дети. Длится вторник.
Горчит дымок. Летит косяк.
Метет традиционный дворник.

Деревьям некогда болеть
О лиственной горячей плоти.
Природе незачем жалеть
Саму себя. Она в работе.

Деревья знают свой черед,
Не плача о своем пределе.
Земля летит, дитя орет,
Листва горит, и все при деле.

И лишь поэт — поскольку Бог
Ему не дал других заданий —
Находит в их труде предлог
Для обязательных страданий.

Гуляка праздный, только он
Имеет времени в достатке
Чтоб издавать протяжный стон
Об этом мировом порядке.

Стоит прощальное тепло.
Горчит осенний дым печальный.
Горит оконное стекло:
В него уперся луч прощальный.

Никто не шлет своей судьбе
Благословений и проклятий.
Никто не плачет о себе:
У всех полно других занятий.

...Когда приходят холода,
Послушны диктатуре круга, —
Душа чуждается труда.
Страданье требует досуга.

Среди плетущих эту нить,
В кругу, где каждый место знает,
Один бездельник должен быть,
Чтобы страдать за всех, кто занят.

Он должен быть самим собой
На непрерывном маскараде
И подтверждать своей судьбой,
Что это все чего-то ради.

НОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ

рассказ в стихах

Алексею Дидурову

Мария, где ты, что ты, что со мной?!
В.Соколов

О Русь моя, жена моя...
Блок



...Стоял июнь. Тогда отдел культуры нас взял в команду штатную свою. Мы с другом начинали сбор фактуры, готовя театральную статью. Мы были на прослушиваньи в “Щуке”. В моей груди уже пылал костер, когда она, за-ламывая руки, читала монолог из “Трех сестер”. Она ушла, мы выскочили следом. Мой сбивчивый, счастливый град похвал ей, вероятно, показался бредом, но я ей слова вставить не давал. Учтиво познакомившись с подругой, делившей с ней московское жилье, не брезгуя банальной услугой (верней — довольно жалобной потугой), мы вызвались сопровождать ее.

Мы бегло познакомились дорогой, сказавши, что весьма увлечены. Она казалась сдержанной и строгой. Она происходила из Читы. Ее глаза большой величины (глаза неповторимого оттенка — густая синь и вместе с тем сви-нец)... Но нет. Чего хотите вы от текста? Я по уши влюбился, наконец.

Я стал ходить за нею. Вузы, туры... Дух занялся на новом вираже. Мне нравился подбор литературы — Щергин, Волошин, Чехов, Беранже... Я кое-что узнал о ней. Мамаша ее одна растила, без отца. От папы унаследовала Маша спокойный юмор и черты лица. Ее отец, живущий в Ленинграде, был литератор. Он владел пером (когда-то я прочел, диплома ради, его рассказ по имени “Паром”). Мать в юности была театроведом, в Чите кружок создать пыталась свой... Ее отец, что приходился дедом моей любимой, умер под Москвой. Он там и похоронен был, за Клином. Туда ее просила съездить мать: его машина числилась за сыном, но надо было что-то оформлять... Остались также некие бумаги: какие-то наброски, чертежи... Короче, мать моей прекрасной Маши в дорогу ей возьми и накажи: коль это ей окажется под силу (прослушиванья — раза три на дню), в один из дней поехать на могилу, взять документы, повидать родину...

Я повстречал отнюдь не ангелочка, чья жизнь — избыток радостей и льгот. У девочки в Чите осталась дочка, которой скоро должен минуть год. Отец ребенка вырос в детском доме и нравственности не был образцом. Она склонилась к этой тяжелой доле — и вследствие того он стал отцом. Он выглядел измученным и сирым, но был хорош, коль Маша не лгала. К тому же у него с преступным миром давно имелись общие дела. Его ловили то менты, то урки, он еле ускользал из западни, — однажды Машу даже в Петербурге пытались взять в заложницы они!

Он говорил, что без нее не может, что для него единственная связь с людьми — она. Так год был ими прожит, и в результате Аська родилась. Он требовал, он уповал на жалость, то горько плакал, то орал со зла, — и Маша

с ним однажды разбежалась (расписана, по счастью, не была). Преследовал, надеялся на чудо и говорил ей всякие слова. Потом он сел. Он ей писал отсюда. Она не отвечала. Какова?

Короче, опыт был весьма суровый. Хоть повесть сочинять, хоть фильм снимать. Она была уборщицей в столовой: по сути дела, содержала мать, к тому ж ребенок... Доставалось круто. Но и в лоскутках этой нищеты квартира их была подобием клуба в убогом захолустье Читы. Да! перед тем, на месяце девятим, — ну, может чуть пораньше, на восьмом — она случайно встретила с Маратом (она взмахнула в воздухе письмом). Он был студент, учился в Универе, приехал перед армией домой и полюбил ее. По крайней мере, обоим так казалось. Боже мой! Представить этот месяц до призыва: Марату нынче-завтра уходить, а ей, едва оправясь от разрыва, сказать ему “Счастливо” — и родить! В последний вечер он сидел не дома, а у нее. Молчали. Рассвело... Мне это так мучительно знакомо, что говорить не стану: тяжело.

Она готовно протянула фото, хранившееся в книжке записной. Он был запечатлен вполборота, перед призывом, прошлую весной. О, этот мальчик с кроткими глазами! Я глянул и ни слова не сказал. Он мене́ всего мечтал о заме, да и какой я, в самом деле зам!.. Я не желаю участи бесславной разлучника. Порвешь ли эту связь?.. Я сам пришел из армии недавно, — моя мечта меня не дождалась... По совести, я толком не заметил — любовь тут или дружба. Видит Бог, я сам влюбился. И поделать с этим я сам, казалось, ничего не мог.

...Добавлю здесь же, что она рожала болезненно и трудно: шесть часов, уже родивши, на столе лежала, не различая лиц и голосов. Все зашивали, все терпеть просили... Держалась, говорили, хоть куда. На стол ей даже кашу приносили (чуть-чуть), — да уж какая там еда!..

Была в ней эта трещинка надлома, какая-то мучительная статья — вне жалости, вне пристани, вне дома... И рядом, кажется, а не достать. И некая трагическая сила, сознание, что все предрешено, — особенно когда произносила строку “Тоска по Родине. Давно...” И лик — прозрачный, тонкий, синопский, — и этот взгляд (то море, то зима), и голос — то высокий, то глубокий, надломленный, как и она сама...

Ухаживал я, в общем, ретроградно, традиционно. Мелочь, баловство. Та-скал ее на вечер авангарда, где сам читал (сказала: “Ничего.”). Потом водил на свадьбу к полудругу, где поздравлял подобием стиха беременную нежную супругу и юного счастливец-жениха. Она сказала: “Жалко их, несчастных!” — “Ты что?!” — спросил я тоном дурака. “Ты погляди на них: тоска, мещанство!” Я восхитился: как она тонка!

Притом в ней вовсе не было снобизма: то было просто острое чутье. Дов-сть могла бы до самоубийства такая жизнь — но только не ее. Искусство, книги или друзья спасали? Скорее, не спасало ничего: воистину, спасаемся мы сами непостижимым чувством своего. Но с этой вечной сдержанностью клятвой, с ее угрюмым опытом житья не знал я, кем казался: спицей пятой или своим, как мне она — своя? Любви не бывают невзаимны, как с давних пор я про себя решил, но говорил я с робостью зайки, хотя обычно этим не грешил. Однажды, в пору ливня грозового, хлеставшего по лужам что есть

сил, я — как бы в продолжение разговора — ее приобнял... тут же отпустил... Мы прятались под жестяным навесом, в подъезд музея так и не зайдя, и, в подражание молодежным пьесам, у нас с собою не было зонта.

Она смеялась и слегка дрожала. Я отдал ей, как водится, пиджак, — все это относительно сближало, но как-то неумело и не так. Она была стройна и тонкорука, полупрозрачна и узка в кости... Была такая бережность и мука — почти не прикасаться (но — почти!..).

Однажды как-то в транспортной беседе, как и обычно; глядя сквозь меня, она сказала, что назавтра едет в поселок, где живет ее родня. Я вызвался — не слишком представляя, что это будет, — проводить и проч.

— Да я сама-то там почти чужая — еще вдобавок гостя приволочь!

А я усердно убеждал в обратном: мол, провожу, да и не ближний свет. Но чтобы это странствие приятным мне представлялось — однозначно нет. Тащиться с ней, играя в джентльмена, куда-то в дом неведомых родных, — сомнительная, в сущности, замена нормально проведенных выходных. Но чтоб двоим преодолеть отдельность, почувствовать родство, сломить печать, — необходимо вместе что-то делать, куда-то ехать, что-то получать. На это я надеялся. Короче, в зеленой глубине ее двора, у “запорожца” цвета белой ночи я дождался девяти утра.

В Чите ей мать, конечно, рассказала, как добираться, — но весьма темно. Сперва от Ленинградского вокзала до станции — ну, скажем, Чухлино. От станции — автобусом в поселок, а там до кладбища подать рукой, где рода их затерянный осколок нашел приют и, может быть, покой.

Цветы мы покупали на вокзале. Опять же выбор требовал чутья. Одна старушка с хитрыми глазами нам говорила, радостно частая: “На кладбище? На кладбище? А ну-ка, — и улыбалась, и меня трясло, — возьмите вот пионы. Рубель штука. Вам только надо четное число.”

Ну что же! Не устраивая торга, четыре штуки взяли по рублю... Я нес букет, признаться, без восторга. С рожденья четных чисел не люблю.

— А на вокзале есть буфет?

— Да вроде... Но там еда...

— Какая ни еда. Весь день с утра живу на бутерброде. Причем с повидлом.

— Ну, пошли тогда!

Мне очень неприятен мир вокзала. Зал ожидания, сон с открытым ртом, на плавающих бутербродах — сало... Жизнь табором, жизнь роем, жизнь гуртом, где мельтешат, немывты и небриты, в потертых кепках, в мятых пиджаках, расплзшейся страны моей термиты с младенцами и скарбом на руках. Вокзал, густое царство неуютя, бездомности — такой, что хоть кричи, вокзал, где самый воздух почему-то всегда пропитан запахом мочи... Ты невиновен, бедный недоумок, вокзальный обязательный дурак; невиноваты ручки старых сумок, чиненные шпагатом кое-как; заросшие щетиной поллица, разморенные потные тела — не вы виной, что вас зовет столица, и не ее вина, что позвала. Но как страшусь я вашего напора, всем собственным словам наперекор! Мне тяжелей любого разговора вокзальный и вагонный разговор. Я человек домашний — от начала и, видимо, до самого конца...

Мы шли к буфету. Маша все молчала, не поднимая бледного лица. Мы отыскиали вход в буфет желанный: салат (какой-то зелени клочки); тарелочки с застывшей кашей манной; сыр, в трубочку свернувшийся почти; в стаканах — полужидкая сметана; селедочка (все порции — с хвостом)... Буфет у них стояч, но, как ни странно, в углу стояли стулья: детский стол. Я усмехнулся: Маша ела кашу... Мой идеал слегка кивнул в ответ. Напротив изводил свою мамашу ребенок четырех неполных лет. Он головой вертел с лицом наутужным. “Ты будешь жрать?! — в бессилии тоски кричала мать ему с акцентом южным и отпускала сочные шлепки. “Жри, гадина, гадючина, хвороба!” — и, кажется, мы удивились оба, жалея об отшлепанном мальце, что не любовь, а все тоска и злоба читались на большом ее лице.

Попробовав сметану, Маша встала (я этого отчасти ожидал):

— Вся скисла. Называется сметана! Пойду сейчас устрою им скандал.

Она пошла к кассирше: “Что такое? — вы скажете, нам это есть велят?”

В ответ кассирша пухлою рукою спокойно показала на халат:

— Одна бабуся мне уже плеснула: мол, горькая, мол, подавись ты ей! Не нравится!.. А я при ней лизнула — нормальная сметана, все о-кей!

— Ну, это сильно. Спорить я не стану, — покорно произнес мой идеал и вдруг: “Друзья! Не стоит брать сметану!” — на весь буфет призывно заорал. И мне (а я, на все уже готовый, шел рядом с ней, не попадая в шаг):

— Я говорила? — я сама в столовой работала. Я знаю, что и как!

“Да, похлебала!” — думал я в печали. Мне нравился ее скандалный жест. Нас всех в единой школе обучали. А как иначе жить? Иначе съест!

Мы втиснулись в горячий, душный тамбур, где воздух измеряется в глотках. В вагоне гомонил цыганский табор в рубахах красных, в расписных платках. Я видел их едва не ежедневно: они по всем вокзалам гомонят — то приторно-просительно, то гневно, — и держат за плечами цыганят.

Все липло к телу. В дребезге и тряске мы пробрались из тамбура в вагон. Она разговорилась — все об Аське. Тут все-таки она меняла тон, смеялась, даже в бок меня толкая: “Есть карточки — посмотришь? Вот и вот. Не толстая, а... сбита такая. И шесть зубов. И колоссально жрет.”

Я сумку взял — она дала без спора: вдруг нам стоять до самого конца? Народ начнет сходить еще не скоро... Она рассказывала про отца, про жизнь в Чите, где всякого хватало, про всякие другие города, — поскольку по стране ее мотало, как я успел заметить, хоть куда:

“Ну вот, к вопросу о житейской прозе. Чита — угрюмый город, захолая у... Беременную, стало быть, увозят, и старший мальчик плачет на полу. На стуле муж, упившийся в сосиску, да главное — сама она в соплю. Хотят везти в роддом, а он неблизко. Она орет: “Не трогай! Потерплю!” И дальше — алкогольный бред кретинки. Собрали вещи, отвезли в роддом — орала, билась: “Где мои ботинки?!” Ну, отыскиали их с большим трудом. Она их подхватила и сбежала — буквально чуть уже не со стола. Представь себе, так дома и рожала. И знаешь, все нормально — родила!”

И, радуясь, что поезд проезжает хоть пять минут, а под горой, в тени, — да, думал я, они легко рожают, — еще не уточняя, кто они.

Они вокруг сидели и стояли — разморены, крикливы, тяжелы. Из сумок и пакетов доставали хлеб с колбасою, липкой от жары, черешню, лук, бутылки с газировкой... И шлепали вертящихся детей, и прибывали с каждой остановкой, теснясь все раздраженной, все лютеей... Обругивали — кстати ли, некстати ль, — друг друга в спорах, громких испокон... Листали замусоленный “Искатель” — возможно, “Человека и закон”... И в гром состава, мчащего по рельсам, мнущего балки и мосты, влетались имена “Зайков” и “Ельцин”, знакомые уже до тошноты.

Стоп! Разве в этих, в старых или в малых — родных не вижу? Я ли не как все? Я сам-то, что ли, вырос на омарах? Да никогда! На той же колбасе. И то резон — считать ее за благо... Не ваш ли я звереныш и птенец? Какого я не в силах сделать шага еще, чтоб с вами слиться наконец? Да сам я, что ли, склонен жить красиво?! Я сам — из той же злости и тщеты, того же читива и того же пива (и слава Богу, что не из Читы!). Ужель мне хода нет и в эту стаю? Чем разнится от века наша суть? Не тот же ли “Искатель” я листаю, не в тех ли электричках я тряусь? Но, помнится, от этого расклада мне никуда не деться с ранних лет...

И нам под вас подлаживаться — надо.

А вам под нас подлаживаться — нет.

... С рожденья мне не обрести привычки к родной, набитой, тесной, сволочной, обычной подмосковной электричке. К обычной, а особенно к ночной. К тем пассажирам — грязным и усталым, глотающим вино, ходящим в масть. К безлюдным, непроглядным полустанкам, где не фиг делать без вести пропасть, под насыпью, под осыпью, в кювете, без имени, без памяти, в снегу... Я многого боюсь на этом свете, но этого... и думать не могу.

...И все-таки, как беженец из рая, опять уйдешь, опять оставишь дом, настолько в эту жизнь себя внедряя, чтобы не так удариться потом. Ведь сколько эта пропасть ни безмерна, сколь яростно о ней не голосим, — но как тонка, как страшно эфемерна граница между миром — тем и сим...

То ль действовала долгая дорога, дух пота и дешевого вина, — но внутренняя тошная тревога по мере приближенья Чухлина росла, росла, ворочалась... Не скрою (хотел бы, да не выйдет все равно), соприкоснуться с жизнью чужою мне до сих пор непросто...

Чухлино.

Нет, станция была обыкновенна, — трава, настл дощатый, тишина, домишко с кассой, — словом, не Равенна, но очень хорошо для Чухлина. “Да полно, — думал я, ломая спички и отряхнув рассыпанный табак, — вдруг и в Равенне те же электрички? А как без них? — наверное, никак.”

В автобусе, идущем от поселка, с намереньем приобрести билет я вынул кошелек, застежкой щелкнул и обнаружил: денег больше нет. Хотя за счет любимой ехать тяжело, я произнес, толкнув ее плечом:

— Пожалуйста, купи билеты, Машка! Потом верну, с процентами причем.

Я повернулся в давке правым боком (я так и ехал — с сумкой на боку):

— Я, знаешь, нынче в кризисе глубоком... Достанешь деньги-то? Мерси боку...

Кругом входили. Маша в сумке рылась и бормотала под нос:

— Ну, дела! Да где ж она лежит, скажи на милость? Не может быть, ведь только что была!

Я видел нечто вроде косметички — так, сумочка потертая весьма... Она ее достала в электричке, чтоб показать мне фото из письма.

— Выходим! Сумки нет!

Проехав мимо, автобус нам прощально поморгал. Она достала все: коробку грима, две наших куртки, зонтик и журнал, обшарила у сумки все карманы...

— Там паспорт! Документы! Аттестат! Все фотографии! Письмо от мамы! И деньги там — четыре пятьдесят!..

Я чуть стоял: все было, как в тумане, как бред — не может быть, но так и есть... Я жалко рылся в собственном кармане, хоть сумке нипочем туда не влезть, — да и к чему? Ведь я запомнил внятно: конверт открыла, фото убрала и косметичку сунула обратно...

Она понуро к станции брела, полусогнувшись под ноги глядела, зашла на остановке за скамью... И ужас, без просвета и предела, наполнил душу робкую мою.

Воистину, бывают же пролеты! Узнают (кто узнает?!) — не простят. А там — характеристика с работы, билеты, деньги, паспорт, аттестат... А завтра ей прослушиваться. Боже! Ко всем волнениям — на тебе, душа! И это ты подстроил! Я? А кто же?!

Без паспорта. И денег ни гроша... Но как же это вышло, в самом деле? Ведь только-только, возле Чухлина, мы эти фотографии глядели, и эту сумку прятала она... А может быть, и выронили в давке, — все может быть. На выходе... Все может быть. А вдруг?!

Она сидела на горячей лавке, коленями зажавши кисти рук, глядела вниз, на доски под ногами, не думая ни биться, ни рыдать...

Я подошел. “А может быть, цыгане? — мелькнула мысль. — Да что теперь гадать!”

Все думая сбежать от этой жути, не признавая за собой греха, я все еще надеялся, что шутит: сейчас достанет сумку и “ха-ха!” Пусть хоть кричит, хоть плачет, — нет, нимало! Глаза пустые, и запекет рот. Она сама еще не понимала. И это означало, что не врет.

И в мыслях — вялых, мусорных, проклятых — все возникало: “Вызвался, дурак! Ну ладно бы — случилось это в Штатах... А ведь у нас без паспорта — никак!..”

...И все-таки — есть некая защита. Стремительный наркоз. Всегда готов. Спасение от мелких пыток быта, потерь любимых или паспортов. Глухой удар свершившегося факта, томление напрасной суеты... Все носишься, все не доходит как-то. Потом дойдет — и уж тогда кранты!..

Всего не сознавали до сих пор мы. Пока она, уставив в точку взгляд, еще сидела на краю платформы, — я повернулся и пошел назад, заглядывая под ноги, под лавки, — распаренный, испуганный и злой...

Клочок земли с клочками чахлой травы, заплыванный подсолнечной лузгой, утопанный до твердости бетона... Собака, задремавшая в тени...

Она сказала, не меняя тона:

— Ну ладно, ехать надо. Ждут они.

Я поразился: держится! Куда там! Не рвет волос, не требует воды, меня не объявляет виноватым. Есть женщины: угрюмы и тверды. На чем стоят — уж в том не прекословь им: недаром и в глазах ее — металл...

— Билеты — к черту! Паспорт восстановим, другое — вышлют, — я пролепетал. — А денег дам — осталось от степухи, и гонорар через четыре дня...

Ее глаза, как прежде, были сухи и, как всегда, смотрели сквозь меня.

— Кто вышлет-то? — она спросила тихо. — Мать с Аськой на Байкале. Не в Чите. Друзья вот разве — Леха. Или Тимка. Они могли бы выслать. Да и те... И Леха, ко всему, без телефона, а Тимка на работе допоздна... И Аська потерялась. В смысле — фото. А я их в Ленинград отцу везла.

Потом мы ждали больше получаса. Асфальт, окурки, пыль, песок, забор. Молчали — разговор не получался, да и какой тут, к черту, разговор! Чужой поселок, где, по сути дела, ни близких, ни знакомых, — никого. Безлюдье. Пыль. Распаренное тело... Мне страшно тут, а ей-то какво?..

...Автобус подошел, как бы хромяя, — клонясь направо, фыркая, гудя, — и скоро улицею Первомая мы с Машей шли — не знаю уж, куда. По матерью указанным приметам она с трудом искала нужный дом.

— Нет, погоди, — не в этом и не в этом... Должно быть, в том. А может быть, и в том...

Какой-то вялый пес, с лентой полаяв, привстал и вновь улегся под забор. Дом отыскался, — не было хозяев, и это был совсем уже минор. Моя любовь сидела у забора, в густой траве. Ей было все равно. Признаться, безысходнее укора я не видал достаточно давно.

Вот тут я наконец и докумекал, — а прежде понимал едва на треть! — что ужас не в потере документов, не в том, чтоб в институте пролететь, не в том, чтобы в толпе других счастливых не пересечь заветную черту, не в том, чтобы с оравой их не слиться, — а в том, чтобы лететь назад, в Читку, чтобы опять работать, где попало, считать копейки, дочку поднимать, повсюду слышать: “Ты же поступала!”. Всем объяснять: “Попробую опять”... В пустой Чите, в безденежье проклятом, — ах, кони, кони, больно берег крут... Вот что пропало вместе с аттестатом.

И если в институте не поймут...

Но тут, по стекла пылью запорошен, по улице, по правой стороне, проехал темно-красный “Запорожец”, принадлежащий Машиной родне. Они ее узнали, чуть не плача.

— А это муж твой, что ли? Что же прячешь?

— Да нет, не муж, какое... Друг он мне.

Хотя она тут не бывала сроду, но вся родня, собравшись на крыльце, признала материнскую породу в ее речах, фигуре и лице. До кладбища нас довели в машине. Путь — километров около пяти. Она взяла пионы. Мы решили, что мне к могиле незачем идти.

... Кладбищенский покой традиционный, тишь, марево июньского тепла. Березы над оградой зеленой слегка шумели — Троица была. На двух березах с двух сторон дороги висели две таблички жестяных, и обрывались на последнем слоге, не умещаясь, надписи на них, расплзшимися буквами по жести: “Вас просит поселковый исполком класть старые венки не в этом месте, а в отведенном. Просьба это пом...”.

Ребенок, — самый дальний Машин родич, одна из тех белесых милых рожиц, которые особенно люблю, — с собою взятый в тот же “Запорожец”, в отсутствии отца пополз к рулю. Он жал гудок, жужжал, крутил баранку и, радостным оборотом лица, мне пальцем показал на обезьянку, привешенную к зеркальцу отцом.

...На кладбище народу было много, и странный мужичок еще бродил — внезапно, безо всякого предлога, он останавливался у могил, склонялся к ним, — читая, что ли, имя? — причем склонялся низко, до земли... Но тут вернулась Маша со своими. Уселись в “Запорожец”, завели...

— Кто это? — я спросил, не понимая.

— Да их тут много. Троица сейчас, — кто ходит, оставляем в поминанье стопашечку, как водится у нас. Ну, всяко — самогоночка бывает, а этих после ходит без числа, опохмеляться ж надо, — допивают, — мать мальчика в ответ произнесла. — А то, бывает, просит, как собака: “Дай на похмель!” — “На, отвяжись ты, на!...”.

И Маша улыбнулась, но, однако, уж лучше бы заплакала она.

Она как будто тяготилась мною, и это бы почувствовал любой. Моей — вполне достаточной — виною, своей — вполне достаточной — бедой. Не знаю, где и как, — по крайней мере, в России этого не превозмочь: любовь не возникает при потере всех документов, паспорта и проч. Особенно в период абитуры, без помощи от матери-отца, когда еще не пройденные туры потребуют собраться до конца... Любовь, когда кругом чужие стены, когда от зноя плавятся мозги, любовь — в условиях паспортной системы, собак, заборов, пыли и лужи?.. Да и во мне самом преобразалось то, что меня за нею повело. Какая тут любовь? — скорее жалость... Вина. Госка. И очень тяжело!

...А Машин дед в поселке жил у некой сердечной, одинокой и простой заведующей местной аптекой (другие называли медсестрой). Не знаю точно, да и все едино. Нас подвезли и в дом позвали: “Ждут”. Все, что осталось, — записи, машина и документы, — находилось тут.

Был стол накрыт, и, как обыкновенно, за ним заране собралась родня. Им Маша пошептала и мгновенно ушла, не оглянувшись на меня. Две женщины закрылись с нею в ванной... Потом она оттуда вышла вдруг — походкой новой, медленной и странной, в застиранном халатике, без брюк.

“Кровотечение... Экая морока! — подумал я, помимо воли злясь. — Ведь знала все! Не рассчитала срока и по жаре куда-то собралась! Да тут еще, эти ее, потеря всех документов... Если бы найти! Доехать до Москвы, по крайней мере! А вдруг ей худо станет по пути?”

Но нет, пока держалась. Сели рядом. Хозяева разлили самогон. Она, конечно, отказалась (взглядом). Я думал отказаться ей вдогон, но после пере-

думал: в самом деле, в такой тоске не выпить стопку — грех. Кругом, как полагается, галдели. Хозяйка говорила громче всех:

— Недавно мы с племянницей на пару, — ох, выбрались-то в кои веки раз! — поехали в Москву смотреть Ротару и видели ее — ну прям как вас! Ходила по рядам и пела, пела — сначала брат с сестрой, потом она, — а платье-то открыто, ясно дело — гляжу, спина — вся потная спина!..

И я подумал с тайною досадой на собственную мелочность и спесь — ведь вон как уминаю хлеб и сало, которые мне предложили здесь, — что стоило доехать аж до центра и за билет переплатить сполна за то, чтоб ей из этого концерта запомнилась лишь потная спина!..

Мне было стыдно перед этим домом. Кто я такой, что так со всеми строг? Здесь так милы со мною, с незнакомым, как мне и со знакомым — дай-то Бог!..

...Здесь устоялся дух жилья чужого — все запахи, все звуки, весь уклад. Здесь все стояло прочно и толково, как на деревне и дома стоят. Диван со стопочкой подушек — думок, для праздника придвинутый к столу, в буфете старом — пять хрустальных рюмок и зеркало высокое в углу, и марлевый ключок, прибитый к фортке — от комарья, и фото на стене — серьезный юноша во флотской форме, хозяйка в шали... Я хмелел, и мне хозяйка говорила почему-то, на Машу взгляд перевода порой:

— Как он приехал, я жила без мужа, он, стало быть, был у меня второй. Но мы не расписались, — мне ж не двадцать, как он пришел, мне было сорок пять... Да мы и не хотели расписаться, нам только б вместо старость скоротать... Под шестьдесят ему уже, не шутка. Ко мне переселился, в этот дом. Врачи сперва сказали — рак желудка, нет, легких, — обнаружилось потом. Да что теперь... Его у нас любили. Я тут поговорила — к сентябрю и памятник поставят на могиле, — его любили, я же говорю. А мне теперь, одной... — она всплакнула, взяла стакан наливки со стола, немного отпила, передохнула...

— Насчет машины — сразу отдала. Что мне с машины? Отдаю не глядя. Тут, Маша, скоро твой приедет дядя, — он сам тогда оформит все дела. Ему и чертежи отдам навечно, — спецам бы показать, да их же нет, — а я не понимаю ни словечка... Ну, он-то разберется: инженер!..

Выходит, Маша попусту крушилась, мы попусту мотались в Чухлино, поскольку все без нас уже решилось и, видимо, достаточно давно?!

...Уже по пятой рюмке выпивали, и все же не предвиделось конца. Уже с каким-то гостем — дядей Валей — мы “Приму” закурили у крыльца... Двухдневного щетиною темнее, он говорил:

— Да ладно, не темни! Ты этого... того... серьезно с нею? Смотри, чтоб строго! Чтоб она — ни-ни! Я со своей-то все молчу, не пикну, приду из рейса (раньше шоферил), — молчу, молчу, а после как прикрикну: “Замолкни, курррва! Что я говорил!”. Держи ее, чтоб поперек ни слова! Нет хуже, чем мужик под каблуком! Но знаешь, раз ударил бестолково, — не представляешь, как жалел потом! Слегка совсем, — кулак-то был увесист, — да так, не столь ударил, сколь прижал, — так после месяца, слышишь, парень, месяц — буквально на горшок ее сажал!..

И, про себя жалея эту бабу, супругу надерзившую со зла, я думал, что досталось ей неслабо, раз месяц встать бедняга не могла! И в тот же миг, противу всяких правил, я подавил прорвавшийся смешок, поскольку с редкой ясностью представил, как я сажаю Машу на горшок.

Ну, дальше началась уже банальность, — я сталкивался с этим много раз:

— Сынок, а как твоя национальность? — промолвил дядя через пару фраз.

Направо, к клубу, улочкою узкой протарахтел усталый пыльный РАФ ...

— Да русский, — я ответил громко, — русский. Насчет жены ты, дядя Валя, прав...

...Спустилась Маша, и довольно скоро нас к остановке отвела родня. Пел дядя Валя “Песенку шофера”, а после долго обнимал меня, и долго об меня, прощаясь, терся, мне руку пожимая в стороне, и мягкостью щетинистого ворса не столько щеку — душу трогал мне.

...Направо, в полуметре от дороги, по склону горки, в сторону реки, медлительно тянулись огороды — картошка, помидоры, кабачки, там рос укроп зеленой паутиной, ухоженный весьма, поскольку свой...

Я чувствовал себя такой скотиной, от Маши веяло такой тоской, что я искал спасенья в разговоре и выдавил сквозь гомон и жару:

— Сейчас приедем!

И добавил вскоре:

— Тебя считали за мою жену! А классная родня, на самом деле. Вот этот дядя Валя — просто клад!

Ее глаза совсем оледенели. Их синеве я был уже не рад.

И, не спокойная уже, а злая, но тихо (а уж лучше бы на крик) — сказала:

— Где тут клад, не понимаю?! Несчастный, старый, спившийся мужик! Напьется, так чудит — гостям потеха. Он нам родня. И жаль его, и злость. Тебе-то что — приехал и уехал! — И отвернулась, добавляя:

— Гость!..

...И в электричке стоя и от зноя томясь, я думал: “Так! Она права. Так можно ненавидеть лишь родное. Есть право ненавистного родства”.

Темнеет, и тяжелый, самогонный хмель голову туманит, — чуть стою, — и в тряске изнуряющей вагонной я вдруг увидел спутницу свою.

Да, в первый раз! Уставясь синим взглядом куда-то в зелень мутного окна, ты ехала в тот миг со мною рядом, моя кровотокающая страна, и вырисовывалась, вырастая из темноты, из трав, из тополей, истомная, истошная, пустая истерика истории твоей. Вагон дрожал. Мелькали балки, стрелки, летели птицы, рушились дома... Раздоры, перепалки, перестрелки... Я встрепенулся. Я сходил с ума. Я посмотрел вокруг. Вагон качался, сквозь вату доходили голоса. Мы не проехали еще и часа, а ехать предстояло три часа...

...О, вечная отравка и потеха — отравка нам, потеха для гостей, — страна моя, где паспорта потеря есть повод для шекспировских страстей! Какой бы

выбор ни назвать жестоким, нет выбора жесточе твоего: быть одинаким или одиноким! Страна, где мой удел — боязнь всего! О, равенства прокрустова лежанка! Казарма! Паспорт! Стройные ряды! Тебе меня не жалко! Жарко!.. Жарко!.. Что, близко? — полдороги впереди...

...Истертых истин истовая жрица, всегда за пеленою проливной, — все упадет в тебя, и все пожрется болотом, болью, блажью, беленой! О, гром на стыках — вспышки, стачки, стычки, прозренья запоздалого стыда! Ты скоро всех загонишь в электрички, летящие неведомо куда! Отечество погудок и побудок! Но в тамбуре, качаясь у стекла, я оборвал себя: “Заткнись, ублюдок! Чего она тебе недодала?!”. Вот то-то и оно — родство по крови! Гам города? — звон рельсов? — зов земли? — но я уже нигде не смог бы, кроме! Люблю? привык? — как хочешь назови! Но что мне клясться, пополняя стадо клянущихся тебе до хрипоты? Как эта девочка, что едет рядом, моей любовью тяготишься ты! Разбойник, ненадежный твой любовник, единственный любимый до конца, вчера ушкуйник, нынче уголовник, — твоих детей оставил без отца!..

И сколько бы я от тебя ни бегал, — я пойман от рождения. Не лови! Ведь от твоих нерегулярных регул мы все уже по горлышко в крови! И боль твоя, что вечно неизбывна, — она одна в тебе еще жива! Отечество воинственного быдла, в самой свободе — злобная рабыня, не Блокова, а Лотёва жена! О Русь моя! Вдова моя! До боли! до пьяных слез! до рвоты кровяной! Да сколько ж там? Приехали мы, что ли? Нет, полчаса осталось... Что со мной?!

Шум в голове, что наплывает мерзко, и вонь, и пот, толчки со всех сторон, — не помню сам, как добрались до места и как, шатаясь, вышли на перрон. Мы пробирались, стиснутые давкой, в вокзальный куб, снявший впереди. Я вел ее в милицию, за справкой.

— Где отделение?

— Спросим, погоди.

Носильщик долго объяснял коряво, — мол, выйти там-то, обогнуть вокзал, — и наконец рукой куда-то вправо от площади вокзальной указал. Я чувствовал, что Маша на пределе. Она молчала, сдерживая боль. Мы долго шли и надпись разглядели на здании: “Таможенный контроль”.

Кругом царило запустенье свалки. Я слышал, как пульсируют виски. Валились стержни от электросварки и проволоки ржавые куски. Мы обошли неведомое зданье — “Да что такое? Заблудились, что ль?!” — но на торце, проходим в назиданье, читалось вновь: “Таможенный контроль”.

Мы вышли из двора, пошли направо — в ту сторону, где, зол и языкат, раскинулся и плавился кроваво июньский продолжительный закат, — и долго мы по станциях плутали меж низенькими зданьями, доколь на самом дальнем вновь не прочитали: “Инспекция. Таможенный контроль”.

И в это время почва потерялась. Мы выпустили ниточку из рук, и стала очевидна ирреальность всего происходящего вокруг. Вокзал шумел невнятно и тревожно. Все на вокзале были заодно. Я понимал, что это невозможно, но был в себе не властен все равно. Стоял многоголосый гам эпохи — злой? возбужденный? — кто их разберет?! — и посредине этой суматохи носильщик ехал задом наперед.

...Был некий дом, стоявший в отдаленье. Дружинник — усмехавшийся юнец — нам объяснил, что это — отделение, и мы туда попали, наконец. Перегородкою из плексигласа был отделен дежуривший майор. Он говорил, не повышая гласа. По виду судя — уроженец гор. В дежурке также помещался столик, что оживляло скудный интерьер. За столиком скандалил алкоголик, родившийся в Казахской ССР. Майор читал ему его анкету, а тот кивал, губами шевеля, и вдруг вскричал: “А кошеля-то нету! Куда же я пойду без кошеля?! Кошель отдайте! Ваши ведь забрали! Зачем? Никто вам права не давал!”. Он изрыгнул поток цветистой брани и снова обреченно закивал.

Мы постукали в плексиглас. “Потише!” — сказал майор и спичку погасил. Сержант к нам вышел — толстый, симпатичный, — и обо всем подробно расспросил. Дослушав, он сочувственно заметил: “Все может быть. И паспорта крадут. Сейчас дежурный разберется с этим, а после — с вами. Подождите тут”.

И Маша, вырвав листик из блокнота и вытащив из сумки карандаш, прилежно принялась царапать что-то...

— Ты что?!

— Письмо Марату. Ручку дашь?

Пока она, на вид невозмутимо, писала, позабывши обо мне, — я изучал “Не проходите мимо” и серию плакатов на стене. Чтобы развеять Машу хоть немного, я усмехнулся: “Классный выходной! Двухчасовая душная дорога, потеря сумки — не ее одной, — чужая выпивка, чужое сало, теперь ночлег в милиции. Отпад!”

— Тебя никто не звал, — она сказала.

Я замолчал и стал читать плакат.

...Дежурный между тем без снисхожденья выпытывал у жертвы с неких пор: “Сергеев! Назовите год рожденья! И побыстрее!” — произнес майор. Тот отвечал: “Я все сказал, отстаньте! Был у меня с сержантом разговор!” — “Не надо тут. Я слышал о сержанте. Ваш год рожденья”, — повторил майор.

“Да что он, видит в этом наслажденье?! — подумал я в тоске, грызя кулак. — Дался им, на фиг, этот год рожденья, ведь все равно сейчас отпустит так!” Майор, однако, был калачик тертый. Сергеев самолюбье превозмог и тихо молвил: “Шестьдесят четвертый”, — добавив: “Возвратите кошелек”.

Майор ответил: “Мы по меньшей мере вас оштрафуем в следующий раз”. Он кнопкой дал сигнал. Открылись двери. Сергеев вышел, громко матерясь.

— Так. Что у вас? — спросил майор устало. Он обращался в основном ко мне.

Я рассказал, а Маша уточняла.

— Где это все случилось? В Чухлине?

— Да, в Чухлине. Такое уж несчастье. Вы дайте справку...

— Не разрешено. Вам там и надо было обращаться.

— Так что ж нам, снова ехать в Чухлино?!

— Я понимаю. Что уж там. Неблизко. В Москве вам новый паспорт не дадут. Где ваша постоянная прописка? Вам там и восстановят. Но не тут.

Здесь только справку. Выдано такой-то. Потеря документов. Дать готов. Вы отнеситесь, девушка, спокойно. У нас тут куча этих паспортов. В бюро находок позвоню.. Минута.

Звонил в Калинин, после — на вокзал и там подробно объяснял кому-то все, что ему я бегло рассказал. Мы терпеливо ждали: или — или. А вдруг нашлось? Возможно ведь вполне...

— Нет, ничего нигде не находили. Езжайте. Разберутся в Чухлине.

— А справку?

— Справку выдам. Что пропало?

— Все, все пропало: паспорт, аттестат...

— Вот, я пишу, что к нам не поступало. А родственники деньги возьмут.

— Да родственники где? — она сказала. — Отправила на отдых из Читы. Нет никого. Ведь ничего не знала. А с аттестатом сколько маеты, а тут погубит каждая отсрочка, везла, сдавала, вот тебе и на, а у меня родни-то — мать и дочка...

И, наконец, расплакалась она.

Она рыдала судорожно, жалко, вся вздрагивая, покраснев лицом, — девчонка, городская приживалка, покинутая мужем и отцом, — отчаянно выплакивала, жадно, всюю, захлеб, не вытирая слез, — безвыходно, бездумно, безоглядно (обиженный ребенок, битый пес), — всю жизнь свою, все белое каленье, все униженья, каждый свой поклон, — и этот час. И это отделение. И этого майора за стеклом.

Он выдал справку.

— Ну, не огорчайтесь. И поспокойней. Это не в укор. Все обойдется. Ну, желаю счастья. Пойдут навстречу, — произнес майор.

...Я шел за ней, — без слова, без вопроса, и видел, что она едва идет, — и вдруг она сказала глядя косо:

— О Господи!

И следом:

— Идиот!

Я промолчал. Вошли в метро. Прохладно. Что делать: виноват — не прескось.

Она сказала:

— Извини!

Да ладно. Чего уж там...

И замолчали вновь.

Я проводил ее до Павелецкой, и было бесконечно тяжело от хрупкости ее фигуры детской и от всего, что с ней произошло. Покоем ночи веяло от сада. Все как вчера — и все не как вчера...

Я сжал ей локоть.

— Ладно. Все. Не надо.

Она исчезла в глубине двора.

Я возвращался, проводив подругу, — во рту помои, в голове свинец, — по кольцевой. По замкнутому кругу. По собственной орбите, наконец.

Нас держит круг — незримо и упруго. Всегда — по своему кругу, в своем дому. И каждый выход за пределы круга грозит бедой — и нам, и тем, к кому. Не выбивайся, не сходи с орбиты, не лезь за круг, не нарушай черты — за это много раз бывали биты, и поделом, такие же, как ты!

...Где тот предел, — о нем и знать не знаешь, — где тот рубеж заказанный, тот миг, когда своей чудовищной изнанкой к нам обернется наш прекрасный мир, — о, этот мир! Хотя бы на мгновение вернуться, удержаться, удержать! — но есть другой, и соприкосновенье мучительно, и некуда бежать, — другой, но без спасительных кавычек, и Боже правый, как они близки! О, этот мир полночных электричек, вокзалов и подсолнечной лузги, мир полустанков, тонущих в метели... Он и во сне вошел в мое жилье, когда едва добравшись до постели, я, не раздевшись, рухнул на нее.

...Ночь напролет он снился мне. Под утро — измученный, с тяжелой головой, — я вышел на балкон. Светало смутно, и капли на веревке бельевой означились. В предутренней печали внизу лежал мой город, как всегда, и первые троллейбусы качали блестящие тугие провода.

20.06. — 8.07. 1989 г.
Москва — Чепелево.

Послесловие автора

Я кончил эту вещь тому три года и не нашел издателя ни в ком. Стех пор пришла тотальная свобода, и наш бардак сменился бардаком — и то, и это, в сущности, несладко, но нам, как видно, выделен в удел порядок — только в виде распорядка, свобода же — как полный беспредел. Сейчас любой задрипаный прозаик, любой поэт и прочая печать с восторгом ждут завинчиванья гаек, и я не вправе это исключать. По крайней мере, все, что о России тут сказано, — пока осталось в силе (тем более, что снова холода, но нынче мы их сами попросили). А быдла даже больше, чем тогда.

Но изменилось, кажется, иное: распалось, расшаталось бытие, и каждый оказался в роли Ноя, спасающего утлое свое суденышко. Петля на каждой шее. Жить наконец придется самому, и мир вокруг глядит еще чужее, чем виделось герою моему.

Теперь наш круг не выглядит защитой, гипнозов нет, а значит, нет защиты. Вокруг бушует некто Ледовитый, и мачта, как положено, трещит. Что — ирреальность летнего вокзала, когда кругом такая кутерьма, и Дания по-прежнему — тюрьма (а если б быть тюрьмою перестала, то Гамлет бы и впрямь сошел с ума!)

Все сдвинулось, и самый воздух стонет. Открылась бездна. Пот и кровь рекой. Поэтому — кого теперь затронет история о мелочи такой? О девочке (теперь читай: Отчизне. Теперь тут любят ясность, как везде). О паспорте. Об отвращеньи к жизни, о столкновеньи с миром и т. д.

Теперь, когда мы все лишились почвы и вместе с ней утратили уют, и в подворотнях отбивают почки, а в переходах плачут и поют, — уже не бро-

силь: “Мне какое дело?”. Не скрыться в нишу своего труда. Все это, впрочем, было. Или зрело. И я боялся этого тогда.

Теперь, среди вполне чужого мира, на фоне вечно слякотных полей, все, что когда-то нам казалось мило, становится, как правило, милей. И в столкновении с его изнанкой — с отечественной темною судьбой, визгливой пьянкой, хриплою тальянкой, безвыходно радающей трубой, во времена, когда и в наши норы бьет ветер, изгоняя дух жилья, — у нас не может быть другой опоры, как только мы. И в этом смысле я, всем переменам вопреки, рискуя извлечь свою поэму из стола, хотя в нисколько мере не тоскую о временах, когда она была написана. С тех пор я как-то свыкся, что этой вещи не видать станка. Она слетела, помнится, из “Микса” из “Юности”... Но ленится рука перечислять. Смешно на этом свете борца с режимом зреть в своем лице. К тому же я издал в родной газете кусок из отступления в конце.

Теперь о Маше. Маша в самом деле была сильна и все перенесла, хотя буквально через две недели (чуть не того же самого числа, когда я вещь закончил), пролетела в Вахтанговском, хоть на плохом счету ее никто не считал. Впрочем, дело обычное. Но вновь лететь в Читу ей не хотелось. По чужим общагам, чужим квартирам (я не сразу вник, считать позором это или благом) — она прошествовала ровным шагом и поступила наконец во ВГИК. Во ВГИКе окрутила иностранца и к сцене охладела, говорят. Она приобрела подобье глянца и перешла в иной видеоряд. Железною провинциальной хваткой, не комплексуя, исподволь, украдкой она желанный вырвала кусок. Какую отзывался мукой сладкой ее висок и детский голосок! О, эта безошибочность инстинкта, умение идти по головам... Она добила своего и стихла. Я тоже не пропал. Чего и вам...

Ну вот. Почти без всякого кокетства я выпускаю бедное наследство бывшего романа. Видит Бог, хотя во мне еще играло детство, — конфликт поэмы никуда не делся. И если б я на самом деле мог его назвать... “Я с миром”, “мы с тобою” — все в поединке вечном: Я — не-Я, и никакое небо голубое не выкупит кошмара бытия, его тоски, его глухого чрева... Но под моим окном, как прежде, древо растет себе неведомо куда, под ним гуляет маленькая дева... Троллейбус поворачивает влево, покачивая, значит, провода.

23.10.92.
Москва.

ФИЛАТОВ

Д
М
И
Т
Р
И
Й

"ПАРАД ДУРАКОВ"

"ВЕРА В СЛОВА"

..НО ЧУНЫЕ ЭЖЕК ТРИ ЧКИ..

НЕЗАВИСИМОСТИ..

..ДЕКЛАРАЦИЯ

БЫКОВ

И
Й
Д
Л
И
М
У

Дмитрий Филатов

**«Парад Дураков»
«Вера в слова»**

**РИЦ «ПАЛИТРА»
Москва 1992**

ISBN 5-900323-04-8 .

*Средства на издание книги предоставлены
Акционерным обществом
“Научно-производственный центр
промышленного телевидения
“ОНИКС”*

*тел. (095)-189-77-41
(095)-218-18-62
факс. (095)-218-63-09*

**В оформлении использованы рисунки:
Р. Гаспаряна
В. Богорал**

**Редактор Георгий Верен
Технический редактор Александр Медведев**

ISBN 5-900323-04-8

С $\frac{4702010202-4}{X27(03)-92}$ - Без объявления

© Дмитрий Филатов, 1992

ПРЕДИСЛОВИЕ КНИГОТОРГОВЦА (начало)

**ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ,
кто открыл эту книгу!**

Немедленно закройте ее и положите, где взяли!

Вы же серьезный человек! Вы что — стихи читать будете?!

Не верю! Пушкина читали, Лермонтова? И это: “Я достану из широких штанин...” Ну и хватит, чего еще. Не морочьте себе голову. А уж если Вам так захотелось что-то почитать, такой вот зуд напал, то возьмите газету — “Коммерсант” или “Коммунист”, толку больше будет... Конечно, если Вы не считаете себя серьезным или деловым, то тогда...

Тогда хватайте эту книгу! Быстро! И уход... Стоп! Деньги-то отдайте — хоть и гроши, конечно, но все-таки... А теперь — уходите, не оглядываясь! Бежать не надо — не привлекайте к себе внимания. Смешавшись с толпой или завернув за угол, можете расслабиться. И прийти в добродушное настроение: Ведь вы сделали себе подарок. Не простой подарок — с секретами. Обращаясь с ним надо бережно и правильно. Поэтому, прежде, чем приступить к чтению стихов, пожалуйста, прочтите предисловия.

И заодно — инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ по чтению с этой стороны книги стихов Д.Филатова

1. Категорически запрещается читать их в транспорте! Во первых, это глупо — все равно как распивать французский коньяк в тамбуре электрички. Во-вторых, опасно для жизни: вдруг вы начнете хохотать, а попутчики примут Вас за помешанного. От испуга и побить могут.

2. Чтение производится в домашней обстановке. Желательно — в том сумеречном состоянии духа, когда, по выражению классика, хочется то ли северюжины с хреном, то ли конституционной монархии. Данная книжка с успехом заменяет и то, и другое.

3. Усвоению стихов Филатова очень способствует потребление спиртных напитков: до чтения — в количестве символическом, во время чтения — в умеренном, после — по потребности. Что же касается вида напитка, то здесь специалисты-филатоведы расходятся во мнениях радикально: некоторые усиленно рекомендуют пиво, другие настаивают на водке, трсты же утверждают, что такие имманентные свойства поэзии Филатова, как транс-

ценденальность, амбивалентность и суггестивность могут быть глубоко осознаны только при помощи портвейна. Короче, идет широкомасштабная принципиальная научная дискуссия, и каждый читатель со здоровой печенью может принять в ней участие.

4. Срок годности книги практически не ограничен. Ну-ка, вспомните: давно ли Вы покупали товар с таким гарантийным сроком? За одно это спасибо скажете...

5 (и последнее) Добрый совет: если эти стихи Вам вдруг понравятся, не пытайтесь понять — почему. Так все испортите. Согласитесь: если, например, мужчина может по пунктам объяснить, почему он любит свою жену, значит он ее не любит. Так и с поэзией. Ловите потихоньку свой кайф, и пусть эта любовь будет тайной двоих — Вас и поэта. Помните "...питайся ими — и молчи" ...Уверяю Вас, хватит надолго.

А если вы все же не послушаете нашего доброго совета и очень (ну просто оч-чень!) захотите сформулировать свое отношение к стихам Филатова... Что ж, тогда читайте "ОБЪЯВЛЕНИЕ".

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Для читателей, склонным к азартным играм, прожиганию жизни, риску и авантюрам, в общем — для передового отряда нашего общества, предлагается модная новинка сезона — конкурс

«ЛОТТО-ФИЛАТОФФ»

Участникам конкурса необходимо заполнить пустые строчки в данном образце:

Дмитрия Филатова смело можно назвать продолжателем поэзии _____ ов. Филатову, как и _____ ам, присуща _____ ая, _____ ая манера мышления. Блестяще владея _____ ными ходами, поэт создает _____ ный, _____ нный мир среднего обывателя, чье сознание отравлено штампами массовой культуры. Вместе с тем, стихи Филатова — это не просто _____ ие стихи. Сквозь _____ и _____ прорывается боль за человека, чувствуется, что автора ранит пошлость обыденного существования. И поэтому о нем можно сказать словами великого _____ :
"_____ !"

Затем образец вырезается и посылается по адресу:

127427, Москва, ул. акад. Королева, д. 21, А/О "ОНИКС", Д. Филатову.

При подведении итогов учитываются остроумие, оригинальность, самодержавие-православие-народность, количество женщин и детей, но в первую очередь — _____ Вашего текста.

(сами придумаете)

Для победителей "ЛОТТО-ФИЛАТОФФ" устанавливаются следующие призы:

1-я премия. Выдвижение на соискание Нобелевской премии по литературе (получение гарантировано — там у нас все схвачено).

2-я премия. Миллион долларов. Одной купюрой.

3-я премия (женская, и — если дама того захочет). Все, что автор будет в силах и вправе для нее сделать.

3-я премия (предположительно мужская, но не обязательно). С автором по легка, по маленькой, за его счет и Ваше здоровье.

На конверте просьба сделать приписку, текст которой зависит от Вашего возраста. Читатели до 30 лет пишут “Новое поколение выбирает Филатова!”; читатели от 31 до 60 лет: “Нынешнее поколение будет жить при Филатове!”; читатели старше 60-ти: “Филатов жил, жив и будет жить!”

Играйте и выигрывайте! Удачи Вам, дорогие товарищи!

По поручению

Фонда Филатова имени Филатова под руководством Филатова
“Инструкцию” и “Объявление” подготовил

Егор Вирен

Примечание: все, причастные к созданию этой книги — от автора до наборщиков, — ни за что никакой ответственности не несут, в переписку не вступают, рукописи и деньги не возвращают, сдачу не дают, а высказываемые ими мнения никогда не совпадают с их собственным!

ПРЕДИСЛОВИЕ СОАВТОРА

Мы с Дмитрием Филатовым давно следим за творчеством друг друга. Часто по утрам один из нас будит другого звонком и, босиком приплясывая у телефона с листком в руке, заставляет следить за своим творчеством.

В результате этой слежки я установил, что Филатов — чрезвычайно своеобразный поэт, не похожий ни на кого и работающий не столько со словом, сколько внутри него или совсем рядом. Я не слышал среди тридцатилетних более верного голоса, но, возможно, это неосведомленность двадцатилетнего.

Филатов — исключительно серьезный литератор, а если иногда он веселит читателя, то делает это сугубо из любви к нему. Филатов любит читателя, в отличие от большинства коллег-ровесников. Он не бьет его ниже пояса, не мучает ребусами и не обвиняет в своих проблемах.

Вообще предисловия к лирике — тухлое дело.

Я счастлив войти в вечность под широкой и теплой обложкой Филатова, — войти, как некая мошка, заснувшая в янтаре.

Дмитрий Быков

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

“Все, что вы тут слышали — наплевать и забыть!”

В.И. Чапаев

Автор родился 4 июля 1958 года в Москве, в семье прораба, инженера по технике безопасности и пенсионерок. От отца унаследовал любовь к гулянкам и матери, от мамы — веру в себя и в отца. Воспитан бабушкой.

По образованию и стажу — ИТР. Поэтому в человеческих отношениях (в том числе и в литературе) более всего ценит определенность и взаимность.

Автор относится к мужчинам, а к женщинам — с огромным уважением, поскольку все главные слова в его языке ("Родина", "семья", "работа", "закуска", "судьба") — женского рода.

Семейное положение в настоящий момент — первый муж жены поэта. Имеет троих детей — сына, жену и себя самого. Но на жизнь хватает, поскольку фантастически богат семьей, друзьями, товарищами, добрыми знакомыми и незнакомыми. Книга сделана ими, для них и за их счет.

И последнее — для критиков. Автор прошел школу самодельной песни и любительского театра конца 70-х - начала 80-х. Это значит, что, во-первых, автор и его лирические герои — один и тот же человек, а во-вторых — все-таки умнее хотя бы раз потрепаться с автором, чем однажды его прочитать.

Тем более, что любимое мое занятие — вялеть дурака в хорошей компании.



Д.Филатов, с теплым приветом.

ПРЕДИСЛОВИЕ КНИГОТОРГОВЦА (окончание)

Большое Вам спасибо. Будьте добры, читайте дальше.

*“И ведь нужно же было при такой-то жизни
какому-то, прости Господи, кобелю борзому,
заговорить о возрождении!”*
Салтыков-Шедрин

Дмитрий Филатов

ПАРАД ДУРАКОВ

**СТИХИ
и ПЕСНИ
на музыку читателя**



Из глубины веков
иду по дням получки
в текучке и толкучке
Парада Дураков,
несу белиберду
над головами ближних,
за пазухой — булыжник,
а в животе — еду.

Иду. Во мне идут
сраженья и собратья,
дожди, мероприятия,
товарищеский суд,
трава на корм скоту,
проценты, дни недели —
идем к великой цели
заполнить пустоту.

* * *

Широка страна родная
или вдруг —
не широка?
Я другой страны
не знаю,
чтоб сказать наверняка.

Я страны
не знаю
в мире буржуазной ширины.
Я не знаю
даже шире —
даже дружеской страны.

Право слово,
мать честная! —
как тягаться шириной?
Ни одной
страны не знаю,

кроме, разве что,
родной.

Где дорога Окружная,
стерегущий старшина...
Так скажи,
страна родная,
что такое
ш и р и н а ?

* * *

Я — еврей, потому что — казах,
эскимос, потому что — татарин.
За республику Коми в глазах
я латвийской ноге благодарен.
На родной на украинский вкус
я, конечно, грузинский тунгус,
потому что во мне говорят
по-узбекски цыган и бурят.

Мой мрдвармянанайский ум
полон чукчеркестонских дум.
А в душе — ну такой союз!..
И назвал бы — боюсь, собьюсь.
Человек — и душой и телом —
плюс советский — умом и словом —
называю себя совчелом,
а хочу — так зову челсовом.

Сын Зухры Ивановой —
Я, Шота Аксельрод,
исторически новый
из народов народ.

Новая кровь и плоть
в пятом колене я
требую права "... вплоть
до отделения".

Я за него бороться
встал посреди Москвы.
Граждане инородцы,
вот я — иду на вы!

* * *

Ты — Россия, я — Москва.
Ты мне слово — я те два.
Слава Богу, что Молдова
отвалила. И Литва.

Ставим Питер на атас
и толкуем глаз на глаз —
наконец-то без Советов.
Как-то будет им без нас
на работе и в бою?..

Ты — отваришь, я — налью
всем товарищам “Столичной”
под картошечку твою.

* * *

Я люблю тебя, Начальник,
больше матери и денег.
За одну твою улыбку
целой Родины не жаль.
Я — твой самый полный чайник.
Я — твой самый крепкий веник.
Обдери меня, как липку,
и возьми себе медаль.

У меня твои приметы:
уши, лысина и брови.
Я ношу их, как идею,
приучаю к ним детей.
И в душе — ты, и в уме — ты,
и во всякой капле крови.
Признаю в одном тебе я
Указателя Путей.

Я — твой сад вечнозеленый,
лишь тобою опыленный.
Без тебя не будет рая
ни во сне, ни наяву.
Я — Великий Подчиненный,
Величайший Подчиненный.
Ты живи, не умирая.
Я тебя переживу.

* * *

Хорошо тому живется, у кого одна нога —
лишний тапок не порвется, и не надо сапога.

Не жалея даже жизни, он фактически сберег
целый тапочек Отчизне, целый Родине сапог.

Потому не тратит бабки государство и в долги
не влезает — целы тапки, и здоровы сапоги.

Потому и дуло танку, и заряды по врагу —
если много раз по тапку, много раз по сапогу.

Ничего, что этот парень попаданьем во врагов
экономил им по паре тапочек и сапогов —

все равно врагу не хватит, никаких не хватит ног
ни для тапок у кровати, ни в окопах для сапог.

А у нас — горой охапка, до фига и до фига
героизма ради тапка и во имя сапога.

У героя — и награда, и возможные блага.
Только тапочка не надо. И не надо сапога.

* * *

Георгию Вирену

Я в жизни не лизал сапог, не брал под козырек —
я пипочку,
я пипочку,
я пипочку берег.

Меня кромсали палачи и вдоль, и поперек,
но пипочку,
но пипочку,
я пипочку берег.

Мой лучший друг не вынес мук, сберечь ее не смог —
я пипочку,
я пипочку,
я пипочку берег.

Народ родной Отчизны мной открыто пренебрег,
но пипочку,
но пипочку,
я пипочку берег.

Страдал я, но кидал в окно с отравой пузырьки
и пипочку,
и пипочку,
я пипочку берег.

И был, как тот среди невзгод непризнанный пророк,
кто пипочку,
кто пипочку,
кто пипочку берег.

Года прошли. Внутри земли я неподвижно лег,
но пипочку,
но пипочку,
я пипочку берег.

И даже Бог сказать не мог ни слова мне в упрек —
я пипочку,
я пипочку,
я пипочку берег.

О, молодежь! Когда идешь ты в бой или в ларек,
тебя ведет
великий тот,
кто пипочку сберег!

* * *

— Ой, братишки, бабы, ребятишки,
где же ваша ЭТА?

— Наша ЭТА все того же цвета —
вот где наша ЭТА!

— Ой, братишки, бабы, ребятишки,
а где ваши ЭТИ?

— Наша ЭТИ лучше всех на свете —
вот где наша ЭТИ!

— Ой, братишки, бабы, ребятишки,
а где ваше ЭТО?

— Наша ЭТО, как обычно, где-то —
вот где наша ЭТО!

— Ой, братишки, бабы, ребятишки,
так на что вам ЭДАК?

— А нам ЭДАК надо напоследок —
вот на что нам ЭДАК!

* * *

1

Бастует Серп.

Бастует Молот.

Бастуют, потому что — Голод.

— А почему, скажите, Голод?

— Так ведь бастуют
Серп и Молот!

2

По указу Госстриптиза
верх у нас на месте низа.
Потому что Госстриптиз
вместо верха носит низ.

СТИХИ О ВЕЧНОМ

Сегодня атом водорода
такой же, как и был вчера —
ура избранникам народа
и господам из-за бугра!
За то, что водородный атом
из электрона и ядра,
ура народным депутатам
и господам!..
А дальше — матом.

* * *

Не был, не был, не имею,
нет и нет, не состою,
не владею, не умею
не свою.

Вот и вся анкета духа
отрицания, среда
обитания, когда
и сивуха, и непруха —
это да.

Я, НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ

— Здравствуйте. Вызывали?
— Паспорт?
— Вот.
— Прочтите вслух и распишитесь.
— “Я, нижеподписавшийся, обязуюсь
всегда помнить об этом разговоре.”
(Расписывается.) О каком разговоре?
— Об этом. О нашем разговоре. Который
уже идет. Вот вам еще — читайте и
расписывайтесь.
— “Я, нижеподписавшийся, обязуюсь
никогда, нигде, никому, ничего
не говорить об этом разговоре.”
(Расписывается.)
— Давайте повестку. (Расписывается.)
Вы свободны. Следующий!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПАМЯТИ

В агромадном домике
жили-были гномики,
и себя они считали
выше экономики.
Эти чудо-дедушки
на большие денежки
первым делом отмечали
свои днирожденьюжки.

Одеяло на нос,
бай-бай — до шести,
спи, моя радость,
большой расти.

Человечки-гномики
собирали в томики
свои речи, а при встрече
чмокались, как гомики.
Не боялись критики,
подставляли личики —
ведь себя они считали
наверху политики.

Одеяло на нос,
бай-бай — до шести,
спи, моя радость,
большой расти.

Гномики великие
ни одной религии
не считали выше культа
генеральной линии
миллионной гвардии —
сказочной гномпартии...
А когда-то эти люди
были великанами.

Одеяло на нос,
подушку поправь,
спи, моя радость,
забудь про явь.

* * *

Антифеминист Л. П. Берия
на колено пал перед женщиной.

Днепрогэс Истматыч Совхозников
вмиг набрал телефон редакции,
девятьсот листов разом выдохнул.

Репинсон Рафаэль Давидович
уже был между них с картинками,
на Манеже полотна выставив.

От любви ли, от конкуренции
махом вылепил бюст Лаврентия
в полный рост на колесо павшего
возвращенец Иван Ф. Кеннеди.
А в Театре имени Гоголя —
не того, но другого Гоголя —
троекратно звоночки тренькнули,
созывая народ на зрелище
под названием
*“С о к о л Б е р и я —
верный друг товарища женщины!
постановка
товарища Гоголя”*

Антифеминист Л.П.Берия
завязал шнурок развязавшийся,
отряхнул колено суконное
и вошел в наркомата здание
наградные листы подписывать.

На другой же день сокол Берия
награждал Ивана Ф. Кеннеди,
а с Иваном — его поделчиков:
Днепрогэса, другого Гоголя,
Репинсона и многих прочая —
награждал хоромами высокими,
что из двух столбов с перекладной,
за возможный обман трудящихся.

А случайная та женщина
после горько-прегорько плакала
над артистами убиенными.

Горько плакала, шла невидимой
по Лубянке муза комедии.

* * *

1

Философ Бердяев! Художник Шагал!
Простите, что я не за Вами шагал!
Простите! За Вами меня не пускал!
Художник-философ Пердяев-Шакал!

2

У поэта у Евту
то по эту, то по ту.

У поэта у Возне
то ли, это — лишь бы не.

Нет конечного лица —
нет и личного конца.

3

Я знаю, что не нов,
как всякий без штанов.
Воистину — новы
те, кто без головы.

4

Смотри, собрат мой! Вот она —
Спина Невиданой России!
На ней Рука Буржуазии
Напишет наши имена!

* * *

*“В этих веселых истинах здравого смысла,
перед которым мы так грешны,
можно поклясться веселым именем Пушкин”
Б л о к “О назначении поэта”*

На снегу лежит А-Эс, член Политбюро.
Засадил ему Дантес финку под ребро,
под падение с высот замаскировал
и отправился сексот на лесоповал.

На снегу лежит А-Эс, кровь бежит, и аж
от нее в КПСС истекает стаж —
а тому немало лет Герцен у Кремля
ему выдал партбилет номер два нуля.

На снегу лежит А-Эс, шевелится чуть,
вспоминая весь свой бескомпромиссный путь:
о, лицейские дела! — “Искра”, динамит,
шефы Красного Села Рикардо и Смит!

На снегу лежит А-Эс. Был когда здоров,
заманил он в Брянский лес камер-юнкеров,
а когда поляков бил Ворошилов Клим,
он, хоть Польшу ту любил, бился вместе с ним.

На снегу лежит А-Эс, изданный весьма
(а ведь времени в обрез было для письма!) —
в сочиненных на ходу “Песнях Октября”
за рабочего Балду он убил царя.

На снегу лежит А-Эс, силится понять,
кто в бювар к нему залез (“ах! е...на мать!”)
и украл короткий стих, где герой-грузин —
“...полужулик, полупсих, полу-сукин-сын”.

На снегу лежит А-Эс. У него строка
родилась наперерез мнению ЦК
о Вожде,
без кого на
свете
счастья нет!” —
как писал в те времена лучший совпоэт.

На снегу лежит А-Эс. Он в НКВД
клялся, что попутал бес, бесы и т.д.,
а не Рыков-Пятаков с ихним Deutsche Geld *.
Но ему “Без дураков!” — отрезал Дубельт.

На снегу лежит А-Эс — лишний человек.
Ожидал его процесс, никакой не снег —
там бы он, как большевик, классовой борьбе
вечный памятник воздвиг бы, а не себе.

На снегу лежит А-Эс, раненый, как лев.
Репутацию ЕЭС, интересы СЭВ
и партийный интерес увязал генсек.
Коминтерновец Дантес взял “перо”, и — снег...

На снегу лежит А-Эс — долго жить велит,
придает особый вес обращению МИД:
“Наше солнце! на снежок! Бельгии шпион
уложил! За ней должок — денег миллион!”

На снегу лежит А-Эс. Получив за труп,
мы проложим до небес километры труб,
купим кожаный отрез, плавленый сырок —
да! такого бы А-Эс выдумать не смог!

На снегу лежит А-Эс. Если б не лежал,
он бы с Лядожской АЭС шведу угрожал,
он бы шуйских да мазеп гнал из губчека,
отбивал буржуйский хлеб бы у Собчака!

На снегу лежит А-Эс. Он бы много внес
в наш сегодняшний прогресс!..

* Deutsche Geld (антипарт.) — деньги буржуйские

Совестно до слез,
что обидный анекдот спьяну на снегу
мне привиделся, и вот — больше не могу.

Я смиренше сохранию в темной глубине.
Но — хотя бы раз на дню думается мне,
что и не таких чудес прорва на Руси.
Если Пушкин тот А-Эс? — Боже упаси!

* * *

Стать задумал депутатом
самых честных правил.
Перед райвоенкоматом
карусель поставил,
рэкетиров кончил, МУРу
сдал их пистолеты
и свою кандидатуру
выдвинул в Советы.

После — вдруг купил газету
самых честных правил
и узнал, что я ракету
Пиночету сплавил,
что товарища Рудского
брал за грудь и — матом,
что нельзя меня такого
даже кандидатом.

После — чуя суд да дело
(самых честных правил,
до расстрела), пиво смело
мебельным разбавил,
перевел на адрес НАТО
“Труд” и “Совкультуру”,
позвонил из автомата,
снял кандидатуру.

После — погулял с друзьями
самых честных правил,
по пути от ГУМа к “Яме”^{*}
крестный ход возглавил
и очнулся под плакатом,
под своим портретом
со словами
“В л а с т ь — С о в е т а м !
И з б р а н д е п у т а т о м !”

* “Яма” — пивной зал “Ладья”, угол Столешникова и Пушкинской, если кто не знает

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОШЛОГО ГОРОДУ МОСКВЕ

1

Герб
достойный первопрестольной:
копьем вооруженный,
конный,
законный тыщу лет
святой
пронзает конституционный
вдруг отмененный
пункт шестой.

2

По воле исполкома Моссовета,
с учетом пожеланий патриотов,
метро нам будет — имени поэта,
а памятник — М.Ю.Красноворотов.

РАССКАЗ ИВАНОВА О РЕСПУБЛИКАНЦАХ И ДЕМОКРАТАХ

*Время дел, говорят, а не слов.
Выбирай, говорят, Иванов:
Либо ты, Иванов, за ослов —
Либо, наоборот, за слонов.
Никаких чтобы там "пополам" —
Ты же наш, говорят, топай к нам.
Только если подашься к ослам —
Лучше не попадайся слонам.*

Я киваю им обоим —
Мол, со всей охотой.
И пока что пью запоем,
Если не работаю.

А они мне с обеих сторон:
*Ты кончай, говорят, вашу так,
Лицемерить — ишачишь, как слон,
А то пьешь до слонов, как ишак.
Так что кайся давай за уклон
И включайся. "Былое — на слом!" —
Как сказал Несгибаемый Слон,
Тот, какого считают Ослом.*

А я строю им обоим
Сироту безротую

И секу, что все равно им —
Пью или работаю.

Но берет меня ихний десант
(Чей не знаю, но хуже зверей):
*Кто не с нами, того — в зоосад,
И накатать, что он не еврей!
Что с тобой, Иванов, со скотом,
Говорят, говорить по душам?
Слон, осел — разберемся потом,
А пока получи по ушам!*

Ну, тут я их смертным боем,
Но не насмерть... Что-то я
Притомился пить запоем,
Вовсе не работая.

И стучатся ко мне два посла:
*Принимай, говорят, ордена.
Вот бумаги — "Отвагу Осла"
И еще "Боевого Слона"!
Хочешь цех, говорят, или — полк?
Только чур без обиды на власть!..
Я в стакан — а мне на руки "целк!"
Да железом по темени "хрясть!"*

И сопят они над телом,
И по фене ботают.
Подзабыл я с этим делом,
Как они работают.

Говорят, что терпелка спасла —
Та, которой в осла и слона.
Я — не помню с какого числа,
Помню только, что смена сдана,
А посуду в обмен не берут,
А "пятерку" суют за побег —
Добровольно являюсь на труд
Ради отдыха, как человек.

Как положено герою,
За троих работаю
И с парнями из конвоя
Кое-что делю на трое
Ихнею субботною.

* * *

Я пою баррикаду, где покой и уют,
где герою и гаду — и покой, и приют,

где ни плана по валу, ни супружеских тайн —
простота ритуала и доступный дизайн.

Что досуг, что работа — под короткое “пли!”
сделать важное что-то для кого-то вдали
и на стреляных дисках (по традиции — ниц)
отдыхать среди близких за кормлением птиц.

А проказы! причуды! — например, в перекур
взгромоздиться на груди леопардовых шкур
между бочками с черной (или красной) икрой
отпевать обреченный существующий строй.

О, лохмотья завесы дымовой на дожде!
О, прочтение прессы разве что по нужде!
О, позздка с докладом Рим-Чикаго-Багдад
по загранбаррикадам от родных баррикад.

Пусть — отчасти разруха, в чем-то строгий режим...
Суть — для нового духа не остаться чужим.
А затем — с аппетитом обустроить быт.
Ведь *ничто* не убито. И *никто* не убит.

* * *

Рвем коммунию в лоскуты.
И друг дружке, ловясь на слове,
раны штопаем, закусив рты
до пока еще общей крови.

Кровь, как смерть на миру, красна,
как суббота, прекрасна. Спертой
речью моя страна
не рванет, разве что — аортой.

* * *

Алексею Дидурову

Поэтика есть политика.
Житье-бытие сборника
есть ленонизм нытика,
плюс наплюрализм ерника,
минус религия высшей лиги
борцов за дензнаки
(кроме ура-патриота, ханыги,
какому везет и так). И
все это делится как попало
полками проблем пола.
Что в остатке? — диктат капитала,
классическая школа.

Просто, как арифметика,
как два поля к двум.

Впрочем,
политика тоже поэтика.
Но тут мы ни бум-бум.

* * *

Давайте не будем об этом.
А будем об отдыхе летом
в каких-нибудь новых штанах,
на как-то полученной даче.
Давайте о том, что — иначе.
А это — пошло оно на х...

А это — обложено матом
и лупит полуавтоматом,
едва переходим на “ты”
в обнимку и прем на мечты
доступные аристократам —
товарищи, Боже, скоты...

Давайте не будем об этом.
А будем об отдыхе летом
в каких-нибудь новых штанах.

* * *

1

Как много девушек хороших,
когда не ставишь даже в грош их!
А чуть потратишься на них —
как много девушек плохих!

2

Он просто делал ей добро.
Она об этом не просила.
Он просто выносил ведро.
Она его не выносила.

3

Мемориальная доска на глади омута:
“Была такая-то близка такому-то”.
А написал бы, что тоска и бляди —
не удержалась бы доска на глади.

Для перемен
нужна NN.
И для проблем
нужна MM.
Зато в беде нужна
жена.

* * *

Гражданское мужество —
это
на самой высокой трибуне,
на той деревяшке,
куда возлагается речь,
рушник раскатать вышиваный,
стакан и кулечек извлечь,
чуть передохнуть
и сглотнуть налетевшие слюни,

из тайной полы пиджака,
потянув за шнурок,
добыть
светлой памяти этой земли златоустов
графинчик
по шустрой коньячной фамилии Шустов
и пальцем промять
с астраханской вязигой пирог,

проворнее черта,
какой надоумил залезть,
и Господа Бога моля
не смахнуть, не раскокать,
налить над гербом
выше края,
поставить на локоть
и брякнуть:
— Сударыня, Ваши здоровье и честь!

* * *

Оле

Для победы над женой
как-нибудь на четвертной
приведу домой поэта
несравнимого со мной.

У него тоска светла,
ему Родина дала
два крыла, а нам — пятерку
до двадцатого числа.

Он захочет почитать.
Он поучит нас летать.
Мы потом за ним неделю
будем небо подметать.

* * *

Стою перед Вами глаза долу,
в сердце открылся глаз:
всякая особь мужского полу
имеет право на Вас.

Особь весом хоть со слона,
ростом хоть с пол-аршина —
правом на Вас обладает она,
если она — мужчина.

Пьяница с черными словами,
он же — палач и шпион,
может вступить во владение Вами,
был бы мужчиной он.

Пусть он брат своего отца,
в тихом доме его родня —
право на Вас у любого самца,
только не у меня.

Умом не слаб, лицом не стар,
всем остальным — высший сорт,
страстный, как Jesus Christ Superstar,
и вкрадчивый, как черт,

утром — философ, ночью — поэт,
мастер родства душ
(нет у меня таких анкет,
где было б зачеркнуто “муж.”),

но — если в сердце открылся глаз,
я говорю не в бровь:
— Нет у меня права на Вас,
и, значит, это — любовь!

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАНС

Едва в переходе на площадь Свердлова
найду кошелечек, а в нем миллион,

я в ГУМе, душа моя, честное слово,
возьму весь “Камю” и на сдачу лимон.

И с литром в дюралево́м кубке до радиорубки
дойду, посту́чу, предъявлю, объявлю
и Вам позвоню, беспокоясь: а слышно ли в трубке,
как люди согласно гуляют за Ваше “люблю”?

Из ГУМа в дежурном “козле” под охраной
рвану за сто двадцать под Ваше окно —
шофер-генерал, неприлично румяный,
прикажет: “Засвищут — ори, что кино!”

И грянут под Вашим балконом из гуши сирени
душевные марши, и первым — мосье Мендельсон.
Как самый способный, я буду играть на сирене,
и будут сбивать меня с темы свисток и клаксон.

Ваш муж, обнаружив меня под балконом,
свой бархатный голос возвысит на Вас —
я сразу же взятым на сдачу лимоном
ему попаду, слава Богу, не в глаз.

И он захохочет, а после напишут в газете,
что “все хороши”, и во дворике вытянет лист
лимонное дерево... Что Вам подробности эти,
мой ангел! Вы так романтичны, а я — реалист.

ПЕРЕДЫШКА

Николаю Фио́нычеву

По новой закурили,
разлили и в дыму
на время сотворили
мир праху своему.

Оставшиеся души
за кухонным столом
хвалу любимой чуши
воспели, как псалом,

и ангел-полуночник
(без денег и часов,
но — книжник и киношник)
вошел в окно на зов

квасным июльским духом,
дождем, отлитым в гром,
кочующим над ухом
бессонным комаром

ввалился и отсрочку
продлил нам, осенил
на ту еще на строчку
(ни ручки, ни чернил,

ни камеры, ни пленки),
и было нам дано
снять вилкой на клеенке
то самое кино.

А после, в идеале,
мы щурились на свет
и стылый чай хлебали
за суету сует

(за штопаные пятки
носок, за профбилет,
за женские повадки
и дырку “семь-валет”,

за редкий день получки —
за все, что всякий год
доводит нас до ручки,
до камеры ведет),

и видели в конце мы,
за кадром, между строк —
что было мимо темы,
вдруг оказалось впрок.

Так кончился в основе
наш творческий процесс.
Комар анализ крови
собрал и с ним исчез.

И в небе стало сухо.
И я окно прикрыл,
а ты зевнул. Ни духа,
ни ангела, ни крыл.

И стало нам хреново —
не знаю почему.

Все снова, Коля. Снова —
мир праху своему.

* * *

Нет ни водки, ни закуски,
ни свободы, ни тоски —

как-то это не по русски,
ни хрена не по-людски.

А ведь было не по штучке
в руке лет тому назад:
налимонился — и Кукин,
рыбку съел — и “самиздат”,
выступления емели
по вопросу “чья вина?”...
Хоть чего-то да имели,
хоть чего-то да умели —
то-то были времена!

Ну, так что оставим детям
кроме собственной вины?

Веры нет ни тем, ни этим.
Лишь бы не было войны.

* * *

Я купил чернил,
сел и сочинил
о тебе сонет.
А тебя и нет.

По записке: “Гриш!
Ухожу в Париж!”
я напал на след.
А Парижа нет.

На такой каприз
посмотрел я вниз —
где же ты, мой свет?
Света тоже нет.

Я подвел итог,
что тебя взял Бог.
Слышу, мне в ответ:
“Гриша, Бога нет.”

Я себя чуть-чуть
ущипнул за грудь —
может, это бред.
А меня и нет.

Я же сел за лист
весь идеалист,
а ведь был декрет,
что всего — и нет.

Понял лично я
с той потерей,
что первичная
есть материя.

СТАНСЫ СУХОМУ ЗАКОНУ

По телу белая с пивком
текут, но мелом не балдею —
балдею духом, что владею
особо смелым языком.
О, речь моя! — свобода слов
страны, где выпивший ругатель
есть основной ниспровергатель
авторитетов и основ.

Из уст в известное лицо,
а не в абстрактных оборотов
летит — о, сладость оборотов! —
слезой соленое словцо.
О, речь моя! — и смех, и грех
страны, где правда беспощадна,
но, по несчастью, непечатна
или печатна не про всех.

Легко сказать: “Иди ты на ...,
однопартийная система!
Есть партия — трезва и нема,
а есть — горласта и пьяна!”
О, речь моя! — не в бровь, а в глаз,
речь гласного от русских пьяниц,
свободного, как иностранец
в его суждениях о нас.

И пусть отчасти бестолков
трибун, а вещее величье
срывается в косноязычье
от лишней дюжины глотков...
О, Речь! Печаль невелика,
что речь мая за кроем нормы —
беда, коль винные реформы
оставят Русь без языка!

КОСМОПОЛИТ

Утром — творог
и “Дружба”-сыр.

Получит семь сорок
Арафат Ясир.

В обед — картошка.
Куриль — “Астра”.
Со сдачи — трешка
камараду Кастро.

Перед ужином
зашел в отдел.
“Хрусталь” — дюжину
— сдал на Мандел.

Ночью не ел.
Спал скверно.
Снились арест и расстрел
Коминтерна,

члены ИККИ,
пачка “Пегаса”, рабочая касса.
Снились колбасы и мясники
времен Анастаса.

* * *

У богатого свои причуды:
Нет бы написать *“Варю обед”*
Или *“Парю ноги от простуды”* —
Но богатый пишет *“Тары нет,”*

И берет отгул на пару лет,
И валютой платит за билет,
И летит на воды, на этюды,
На Багамы там или Бермуды.

А поэт берет велосипед
И везет сверкающие груды
Будущих бумажек и монет
На приемный пункт стеклопосуды,

Где и сочиняет свой сонет.
И у бедного свои причуды.

* * *

Февраль — достал “чернил” и выпил
за то, что рот страны открыт.
Язык на ветер, словно вымпел,
выбрасывал. Рыгал навзрыд.

Бил ливнем из радиоточек
не благовест, не клик колес,
а весь отлитый в струи строчек
Двадцать Седьмой партийный съезд.

В такси не брали. До рассвета
считал грачей на холоду.
И где-то понимал поэта:
рыдать в шестнадцатом году!

Да здравствует свобода слова!
И был на службе к девяти.
О, Боже! до чего же клево:
“Во всем мне хочется дойти...”

* * *

Призвание — камерный поэт.
Играю на заветной лире
тайком. Дарю интимный свет.
Горю, как лампочка в сортире.
В уединении, в тиши,
на площади некоммунальной
проходит, может быть, банальный,
но все же — туалет души.
В часы, когда на сердце тяжко,
Когда по горло суета,
что публицистика — какашка
в размер печатного листа.
Тогда — смиришь и не суди
о ближнем, не суди о дальнем.
Расслабься, как в исповедальне
до очищения сиди.
Внимай невнятному. Но — вот! —
метафоры! метаморфозы!
и на челе холодный пот!
и навернувшиеся слезы!
Себя не ведаешь, творя.
И выдаешь такие строки,
что слушатели — просто в жопе.
Все в шопе, прямо говоря.

ПОЭТ И ТОЛПА

Читает — подвывает,
поскольку это знак,
что он переживает
не так, как мы, не так.

Читает, как качает,
качает по волнам,
и это означает
неведомое нам.

Читает аж до пятен
вокруг нездешних глаз,
что значит — непонятен
он никому из нас.

Увы! не наши дали,
не наши, блин, миры —
его траляли-вали,
его хухры-мухры.

* * *

Не пора ли помолчать?
Разобраться не пора ли
с тем, что мы насобирали
ради выхода в печать,

ради выхода в тираж,
где посредством размноженья
средства самовыраженья
вырождаемся в типаж,

в очерстевшие черты
непримкнувшего к Советам
у кого при всем при этом,
ей-же, помыслы чисты,

в ком особый сорт стыда
(душу — ест, глаза — не выест)
и, для святости, невыезд
из отсюда хоть куда,

за границу нищеты
(той, какая — плоть от плоти,
чем богаты в пересчете
на печатные листы) —

и читается с листа
злосычный и лиричный
опыт, выданный за личный,
наши общие места:

перенос в интимный пласт
тяжести гражданской темы...
Ясно, кто мы. Ясно, где мы.
Дальше что — Господь подаст?

Все труднее отличать
“не пиши” от “не укради”.
Кончим, что ли — Бога ради,
ради выхода в печать?

* * *

*“Умом Россию не понять”
Тютчев*

Отроду разум ярмом.
Ладно уж — головы сложим.
Если бы только “умом” —
Господи, верой не можем!

Нам — хоть святых выноси.
С нас не убудет, покуда
чудом живем на Руси,
да позабористей чуда.

Пишем с иконы лубок,
гоним чертей по закуске
и утешаемся: Бог
в Бога не верит по-русски.

* * *

Сына за руку веду,
сочиняю ерунду:
— Ты держи меня за палец,
а не то я пропаду!

Помнишь дядю в плаще?
Помнишь тетю в серьгах?
Этот дядя — Кощей,
эта тетя — Яга.
Я у этой четы,
почитай что во рту,
потому что, как ты,
непослушным расту.

Только, чур, давай без слез...
Да шучу я! А всерьез —
им охота меня скушать
Потому, что ты подрос,

и тебе я могу
рассказать, не соврать
все как есть про Ягу,
про кощеву рать
и про меч-кладенец,

что цепей не разбил —
меня тоже отец
непослушным растил.

Ты держи, сынок, не брось
палец... Жизнь мою и злость —
на! держи, чтоб стала в горле
у злодеев наша кость!

И тогда мы костей
наломаем врагам
посильней, чем Кощей,
похитрей, чем Яга!
Ты расти, оголец,
непослушным расти!
А что выпил отец —
ты уж это прости.

Сына за руку веду,
повторяю на ходу:
— Ты держи меня за палец —
я с тобой не пропаду.

* * *

И чтобы детство уважать
всерьез, а не для галочки,
достаточно в руке держать
свой леденец на палочке.
Рыбка,
птичка,
петушок —
вот и кончился стишок.

И чтобы стало тяжелей
от детства наизнанку,
достаточно не пожалеть
расколотую банку.
Муха
села
на варенье —
вот и все стихотворенье.

Из такой вот чепухи,
без затей
пишут взрослые стихи
для детей.

* * *

Человеку нужен покой. Не покойный вид из окон,
не кило рублей под рукой — человеку нужен закон
говорить своим языком, собственной кумекать башкой.
Человеку нужен закон — место для своей мастерской.
Человеку нужен закон. Если нет Матфея с Лукой,
Марком, Иоанном, так он примет всякий, хоть воровской.
В золоте за правой щекой, левую набьет балыком
и — вперед, по водке рекой, по борделям через партком.
Всех вокруг поставит на кон, обошлет дубовой доской,
если это дело — закон, и за это дело — покой.
А местечко для мастерской — хоть у дьявола под задком,
но свободной воле — покой, и уж это точно закон.

Мы его обмоем пивком на Тверской на Третьей Ямской.
Рупь бумажный — серп с молотком — лучше, чем вообще никакой.
Правда, никого над толпой не поднимет он — а на кой?..
Ведь у нас законный запой прямиком в приемный покой.

* * *

Нас мало. Нас только один
и, как утешение, двое.
До смерти идем от родин
под стамиллионным конвоєм.
Сквозь веру не в меру, а в числа
по миру идем и несем
свое понимание смысла
открытого нами во всем.

Мы живем однава,
потому что — одни.
А любовь все жива,
и поди объясни.

Мы тоже не тверже свинца,
мы тоже не выше барака,
но наши умы и сердца
устроены все же инако.
И те, кто идут оцепленьем —
великие масса и класс —
то молят нас о преступленьи,
то гонят на подвиги нас.

Мы живем однава,
выше правды и лжи.
А любовь все жива,
и поди докажи.

Нас мало. Но воду на газ
поставим и пачку пельменей

откроем за то, что у нас
шагающий к истине гений.
Покормим его на дороге,
а после — не в общей судьбе,
не в ногу, но к общему Богу,
который сначала в себе.

Мы живем одна,
если жизнь такова.
А любовь все жива,
А любовь — все жива.



Дмитрий ФИЛАТОВ

ВЕРА В СЛОВА

**Немного другие
стихи и песни**



До свидания, эпоха
гарантированных благ,
даже если было плохо,
даже если было так:
ты мне, сволочь, фигу в рыло,
я тебе — в кармане шиш.
Ведь еще чего-то было —
без тебя не объяснишь:
кухонька, в кармане треха,
состояние души.

До свидания, эпоха!
А не свидимся — пиши.

* * *

Судьба играет человеком,
а человек берет себе
три чебурека и судьбе —
четыре пива с чебуреком,

за эти самые игрушки
они садятся и — вперед,
и вот уже вино и сушки
судьба сама ему берет,

и занимает до получки,
и чутким пальчиком грозит,
а он попутку тормозит
и, паразит — “целую ручки!” ,

и за подкупленным водилой
в обнимку ссорятся они.
Она ему: “Не надо, милый...”,
а он играет в “извини”

и обрывает “не канючь!”
в тени у домика под вишней,

где некто третий, некто лишний
оставил музыку и ключ,

и выдох раннего Гиллеспи
ему, что судная труба,
и он осмелится...

Но если,
она заснет в дырявом кресле,
то человеку — не судьба.

* * *

Ни крестом, ни пестом.

Пометался в неистойвой —
и, над чистым листом
отдыхая, насвистывай
“Интернационал”,

да пощелкивай кнопками
из канала в канал
с еще большими попками,

да колдуй у плиты
в колпаке и переднике,

да набитые рты
выбирай в собеседники,
проводя, например,
межпартийные прения
о принятии мер
только против курения,

украшай кабинет
корешками собрания
сочинений, где нет
перестройки сознания,

да за мышцами щек
шевели да обсасывай
козырной пустячок
исключительно кассовый,

да берись за перо
с видом нового классика:

*“...остановка метро называется ”Пасека”,
и — минута пешком или десять на катере —
бывший райисполком Пресвятой Богоматери,
ныне паркстадион, на котором по вторникам*

*в униформе ООН я работаю дворником
за квартиру, гараж, лимузин и питание,
за сигнальный тираж и за переиздание,
и летает метла, и мечтаю о славе я,
и — была не была! — вижу буквы заглавия:
“ Р о д и н а ” ...”*

Вот и весь,
так сказать, обмен опытом.

Не в бутылку же лезть
за пропавшими пропадом,
не топить же в вине
ремесло и профессию
и, конечно же, не
выдавать за поэзию
вот такие стишки.

Даже если наскучило,
обрывая кишки,
набивать ими чучело.

СТИХИ О ЛЮБВИ К ГОСУДАРСТВУ

С ним и дня прожить не могли мы
без, как оказалось, вранья,
что едины и неделимы.
Государство — это не я.
А ведь было дело под речи
об одной единой судьбе...
И не прячемся, и при встрече
нам взаимно не по себе,
говорим словами чужими
в непривычном третьем лице
о тоталитарном режиме
или о терновом венце,
о конце народного бога —
только, как себя ни готовь,
тут такая, брат, безнадега,
будто платим мы за любовь.
Тут и правильно, и неловко,
и вообще — какого рожна!
У него — другая тусовка,
у меня — пацан, да жена,
да рубли, да зубы, да муза
вот еще об этом — да тьфу!..

Свернутая карта Союза
в детской, от греха, на шкафу.

* * *

*“Свобода приходит нагой”
французская народная мудрость*

Со спиртом и пепси-колой
в четвертом часу утра
свобода приходит голой,
веселой и “на ура”

в семью, так сказать, поэта,
где здесь вам уже не тут,
где сын и жена на это
и пяткой не поведут,

а “сам” покажет коряво,
как мало счастлив, но рад —
родная моя шалава
накинёт женин халат,

умело с мылом и содой
отмоет по стопарю,
и я пойду за свободой
на кухню, перекурю,

и мы присядем, и въедем
в разбавленный килограмм
за добрую ночь соседям,
здоровье прекрасных дам!,

и чтоб в овощных консервах
поменьше бы нам костей,
и чтобы были, во-первых,
родители у детей —

и все это в полудреме,
по-тихому, до шести...
Свобода в моем дурдоме
умеет себя вести.

А тем, кто любит свободу
народной или срамной,
напишет дивную оду
который передо мной.

* * *

Над замыслом слезами обольюсь.
А замысел — позавтракать, умыться,
посочинять о том, чему не сбыться.

Загадывать не то чтобы боюсь,
да слово к черту валится из рук,
который раз — хорошенькое дело! —

картошка разварилась и сгорела,
а газ погас, и ясно, что не вдруг.

И надо бы за дело, не за так
разок намылить шею домовому,
который дурью мается по дому:

загадывать не то, чтобы мастак,
да вот уже не первый выходной
примета — кроме слез воды не вылить,

и это, стоит голову намылить.
А главное, что слово не за мной.

И, отмываясь чайничной струей,
соленое отплеывая мыло,
мне б угадать — к чему все это было,

и чья печаль кочует над семьей,
едва на службу выбежит жена,
а муж начнет разгуливать в испеднем

да размышлять о промысле Господнем,
который называется — Она.

* * *

Отставить мордобой и блядки,
штаны поправить — и айда
сдавать посуду, господа!
Пора завязывать, ребятки.
Потерю злого куража
объявим прибыльной потерей...

Работа в жанре бухгалтерии
полна накала и свежа,
и рядовой интеллигент —
с порога в гору.
Аты-баты,
идут поэты предоплаты
и режиссеры "second hand"* —
идут герои-демпеля
себя показывать на танцы
квитанций банка, франко-станций
и безналичного рубля.

* "second hand" — б/у

Культура прет в купецкий клуб,
теснит аборигенов к лавкам,
и бережно берет за круп
весь перечень товарных групп,
истосковавшихся по ласкам —
ах!

Сходятся Восток и Запах,
добротный дух и целина
(со страшной силой, но она
заключена в красивых лапах).
И будет — что?

Терпи, бумага,
как скрестит бедное перо
материальное добро
и то добро, какое благо —
смешает “сов-”, “культур-” и “кап-”
не навсегда,
но как этап.

Играй, фантазия, теки,
вези кубы, тюки и слитки
концерна имени А.Шнитке
в лабазы имени Луки,
твори, не требуя наград
и гонораров,
а тушенку
украсит профиль Евтушенко,
как ГОСТ, как цензор и гарант,
а Филя натаскает Хрюшу
по карле Марксу,
и у них
повырастают “деньги-штрих”
плюс потребление на душу,
и, может быть, чудные дети
моих детей — на этот свет,
на веки — мне за строчки эти
положат по одной монете
достоинством “один эстет”!
Ату, фантазия, туфту
гони, приметы и примеры
из, господа, не нашей эры,
но —

нашей горечи во рту.
В кармане черная дыра,
и наволочка грязновата.
Но связываться — не пора.
Пора завязывать, ребята.

* * *

...А этот снег был так хорош —
он назывался Ваша Светлость,
его слепящая несметность
гасила лунный медный грош,
и, очевидно потому,
игра теней с фонарным рядом
казалась балом-маскарадом,
где вход и всем, и — никому.

Как не войти, когда ногам
хотелось вальса в паре с тенью,
когда командовал метелью
веселый Штраус Иоганн.
То Дон Жуан, то Дон Кихот
в нее влюблялся Рихард Штраус,
но —

наступало время пауз.
Шел снег — небесный тихоход.
Шел звездочет и книгочей,
на волю выгнанный затворник.
С ним утром сталкивался дворник,
а до утра — он был ничей,
и мог отпущенной душой
благословлять безлюдье улиц,
где — на ходу ли, на бегу ли —
творился день,
такой большой,
что, начиная кутерьму,
мы говорили:
— Как красиво!

Кому за то сказать спасибо? —
Вы сами знаете — кому.

* * *

Течет домашняя наливка.
Чаяк. Смородиновый лист.
И открывает гитарист
романс “Калитка”,
и в ночь серебряных черемух
поёт, и видит на крыльце
амура, взявшего прицел
на верный промах.
А в позе розового тельца
на фоне дачи и луны —
лишь понимание: лгуны,
в кого ни целься...

Тоску в лицо, гитару в руки
вбивают, требуют “еще!”
хмельные гости,
жжет плечо ладонь супруги —
“Эх! за!гу!лял!” —
но

боком, боком
ведет героя от стола
в траву:
— О, Господи, стрела...
о, черт!... хоть локон...

И нет стрелы. И нет обмана.

— Вы изменились, Дон Гуан?

Но судорогой по губам:
— Дона Анна!..

* * *

Если Ваши дела не взаимны —
так и быть, подходите ко мне.
Сочиняю домашние гимны
по умеренно малой цене,
за каких-нибудь два-три часа
на хождение по магазинам
за “отдельной” — не хлебом единым
заедем, если есть колбаса.

Ну а нет — с молодым человеком,
сочинителем гимна про дом,
пометим по домашним сусекам
и по людям домашним пройдем:
у соседа махнем на консервы
табачок, у соседки мацы
нацыганим — не всюду же стервы,
и совсем не везде стервецы!

Ну а если — такое бывало —
на столе и в подъезде — облом,
согласимся, что я — приживала,
так и быть, но — за Вашим столом,
где радушны и гостеприимны
по умеренно малой цене...

(Посвящается первой жене.)

Сочиняю домашние гимны
ради пары теней на стене.

* * *

Мое от тебя не уйдет.
Меня только равный убьет
по боли, по вере, по дури,
по нашей совковой натуре,
по совести. Раз уж равны —
и мне не уйти от вины,
что вдруг в рукопашном бою
твою черепушку пробью.

Но кровь наша красная, Русь,
бормочет:
авось обойдусь,
авось не сочтемся бутылкой,
товарищ, за братской могилкой.

* * *

И в основном, и в остальном
похожи друг на друга.
Не туго с мясом и со сном —
а вот со счастьем туго.

За то, что в чем-то там оно,
а не в жене и в муже,
нам понимание дано —
а вот со счастьем хуже.

За это я тобой любим,
и мною ты любима.

Я быть могу тебе любим —
да только счастье мимо.

* * *

Была бы воля,
а любовь была бы краткой,
без алкоголя,
без эротики украдкой.

У "Метрополя
с малолетней демократкой
всего-то навсего подумать об одном:
о том законе,

по какому люди — братья,
ее ладони

передать свое пожатье
и нечего не ждать

от выреза на платья,
не убеждать ее отужинать вином.

*...Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
А любовь все живет
В моем сердце больном."*

Душа была бы —
мы, под горочку влекомы,
шажок хотя бы,
без вины и без оскомы,
что куры бабы,
а мужчины — костоломы,
всего-то навсего до кружева ворот
шагнули вниз
и шли бы садом, царским садом
до обелиска
и до будки с лимонадом,
раз это близко
просто потому, что рядом,
и никакого там хождения в народ.

*"...Сколько раз из-за Вас
Мучался, томился.
Один раз из-за Вас
Чуть не удавился."*

Была бы вера
в доброту людей и дамы
у кавалера —
Сами вымерли бы хамы
эСэСэСэРа,
из каких наверняка мы!
Всего-то навсего твержу, покуда жив:
"Была бы пара!
воля!
вера!" —
так ведь нет...
Ах!
зато
есть "та-ра!-
та-ра-ра!",
как в опереттах
мосье Легара,
в упоительных дуэтах,
где я, мой ангел, ослепительно фальшив:

*"Один барон любил ворон гонять и свиту.
Играл барону граммофон "Кармен-сюиту",
Или чего-то с похорон, или "Трембиту",
А у барона был приятный баритон!"*

До того дописался, что село
пол-Союза на хлеб и на квас
под борьбу за рабочее дело
и мою писанину о Вас.
В Уренгое кончается газ,
переулками от Моссовета
цыганенок уводит коня —
бедный князь! — и с меня
еще спросят за это.
Ну, а я? Ну, а я — все о Вас!

Сколько раз я (то “Страсти по БАМу”,
а то антисовхозный рассказ,
а то сразу Устав и Программу)
сочинял — выходило о Вас.
Вы — мой асоциальный заказ,
Вы — надежда, что даром не сгинем
от какой-то там ярости масс,
да гори она глаз
Ваших пламенем синим!..
Ну, а я? Ну, а я — все о Вас!

Я раздумал записку премьеру
и сатиру на происки ТАСС —
за царицу, народность и веру
я борюсь описанием Вас.
Получается — полный атас!..
Девятнадцатый век на исходе,
революции вроде бы нет.
Ваш любимый поэт
пишет Вам о погоде.
Ну, а я? Ну, а я — все о Вас!

ТЕМА ОФЕЛИИ

Есть женщина. А кажется, что нет.
Нет даже слов, а только речи, речи.
Ищу рукой: вот — волосы, вот — плечи.
Есть женщина. А кажется, что нет.

Нет женщины. А кажется, что есть.
Хочу проверить, так ли это — снова
Себе и только говорю два слова:
“Нет женщины.” А кажется, что есть.

Есть женщина. И ей легко забыть
Меня, уйти, но — рядом оказаться.
Ведь женщине так нравится казаться,
Когда решаешь “быть или не быть?”

* * *

Прости, красавица-певичка,
что песни разные поем.
В инакомыслии моем
четыре четверти — привычка,

с которой прячу за слова
тоску по ласковому маю.
И я тебе не подпеваю.
И ты, наверное, права,

когда партеру “под фанеру”
даешь на выходе одну
и ту же “новую волну” —
все ту же маленькую веру,

а я уже какой строкой
никак ее не обмозгую —
я слышу музыку другую
или не слышу никакой.

И ты зовешь к весне и морю
меня, зажатого толпой
твоих фанатов — пой же, пой,
плевать, что я тебе не вторю,

а только чувствую вину
лишь в том, что чувствую инако.
Поскольку вою, как собака,
на красоту, как на луну.

* * *

В Тимирязевском лесу —
солнце и февраль,
точно кто их подбирал
к твоему лицу,

точно кто его любил
так, как я сейчас,
и в ладони, горячась,
сослепу ловил,

а прохожий человек
головой качал,
и была твоя печаль —
прошлогодний снег,

точно все равно тебе:
тот или другой

ошибается рукой
на чужой судьбе,

4

точно не было и нет
никого с тобой,
а сегодняшняя боль —
прошлогодний свет.

В Тимирязевском лесу
я тебя люблю.

Мы стоим лицо к лицу,
к солнцу, к февралю.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ РОМАНС

Свернуть, подняться и войти
туда, где будешь долгожданным —
к хозяйке, мальчику, собаке
ничуть не надо привыкать.
Под душем душу отвести,
достать белье из чемодана
и, тыча в дырку на рубаше,
к себе вниманье привлечь.

Знакомый чайник закипит,
и чашек полные пригоршни
украсят старенькую скатерть
под немудреный разговор:
— Сюда бы полочку купить...
— А сын-то весь в тебя — притворщик...
Пират лукаво зубы скалит.
Квартира окнами во двор.

Кому заняты пустяки? —
Тому кто верит в их секреты.
Ведь линии, пересекаясь,
всего лишь точку создают,
но из нее холостяки
идут в семейные портреты,
по ходу дела привыкая
платить правами за уют.

От пункта Я до пункта МЫ
еще бежать и задыхаться —
но перед этим, перед этим
давай заключим уговор:
ни от тюрьмы, ни от сумы,
ни от любви не зарекаемся,
когда, усталые, заметим
квартиру окнами во двор.

РОМАНС О ЛЮБВИ К ВЕЩАМ

Вот рамка для декадного единого билета.
Вот табака дукатного сырая сигарета.
Вот курточка бульжного неходового цвета —
давай возлюбим ближнего хотя б за это.

А вот виньетка, роз букет, в углу фотопортрета.
Вот папиросница в руке червонного валета.
Вот у жилета бального кармашек для брегета —
давай возлюбим дальнего хотя б за это.

А вот стихи для пения — вот мелкие монеты
на дне реки забвения, неутомимой Леты.
В нее куплеты о вещах бросая по куплету,
иной любви не обещаю — хотя бы эту.

ПРОВОДЫ ЛЕТА

Проводы лета. Мы — в нем, и поэтому ждем повторенья.
В кухне натоплено, дух от накопленных банок варенья.
Мы угощаемся благодаря, мы защищаемся от октября,
чайным глотком облегчаем оскомину просьб о пощаде.

Наше спасение в том, что мы бросили летом до осени,
где-то посеяли — охами-ахами лбы перепаханы.
Ты огорчаешься, просишь:
— Напомни-ка...

Плავает в чайнике шарик шиповника.

— Пей. — я напомню, по новой наполню. — Ну как, полегчало?

— Да, полегчало, хотя поначалу не так чтобы очень.
Видишь ли, смеху дожди не помеха покуда не осень —
что-то замотан я в этой связи...

Ладно, чего там — кривая, вези,
трогай, и с Богом, следить за дорогой пока неохота.

Нет, мы не спятили — просто в апатии есть своя прелесть
мало-помалу заметить, как палые листья запрет,
их на ходу протыкая зонтом, мокнуть и думать слегка не о том,
выйти наружу, себя обнаружить осенью — в Новом Году.

Наше спасение в том, что мы бросили летом до осени.

* * *

Володе и Егору

Написал "снег идет" — он пошел, по-весеннему светел.
По-весеннему? — да! и для снега апрель сочинил.
Написал "встретил Вас" — и на первой же улице встретил.

Вот бы здорово так — чудеса из бумаг и чернил.
Вот бы здорово — делать словами погоду на утро,
возвращенье любимых людей и вращенье земли.
Но из этого следует — жить откровенно и мудро,
как никто. Даже боги пытались, и те не смогли.

Написал и порвал. И не жаль, если заново надо
повторять все земные грехи от своей немоты:
как я глуп, как я слаб! — в январе нет как нет снегопада,
всех друзей разогнал и с последней богиней “на ты”.
Но жива еще вера в слова, как бы ни было плохо
от таких и таких-то напрасно обещанных дел —
я в себе и любовь, и друзей собираю для вдоха,
чтобы выдохнуть: “Снег!...” — и увидеть, как он полетел.